Ашир Назаров

Солнечный свет





Ашир Назаров



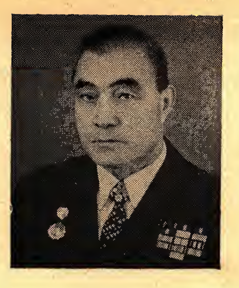
Солнечный свет

Повесть,
рассказы,
очерки

Перевод с туркменского

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1984

С(Туркм)2
Н 19



Художник СЕМЕН БЕЙДЕРМАН

Н $\frac{4702540200-450}{084(02)-84}$ 331—84



Документальная
повесть

ПАМЯТНИК

Он стоит на берегу Мургаба, открытый ветрам и солнцу, — монумент генералу Якубу Кулиеву.

Жизнь, за которую Якуб Кулиев сложил голову, течет здесь, у его бронзовых сапог.

Ленинский сквер города Мары полнится птичьим гомоном. Старик в массивных роговых очках, седая борода ниспадает на грудь, углубился в газету. С терпеливой обстоятельностью он дочитывает до конца колонку и начинает следующую. Бабушка тянет за руку упирающегося внучонка. Мальчугану охота остановиться, поглядеть, как ребята постарше наводят маленький зеркальный зайчик. Но бабушка знает лучше, — пора домой... А там, где аллеи менее людны, где тишина и тень, на укромных скамейках часами просиживают влюбленные. Они не спешат...

Над всеми ними, над седобородым стариком и упрямым малышом, над притихшими влюбленными и сорванцами с зеркалами, высится отлитый в бронзу Якуб Кулиев. Жизнь и время минуют его. Мысли его недоступны людям. Им вольно строить предположения.

Может быть, он вспоминает свою Зину или родную Иолотань? Может быть. А возможно, его мысль обращена к матери и Бадысабе. Или он думает о младшем братишке Гуламе. Или перед его мысленным взором проходят московские дни — дни, проведенные в военной Академии имени М. В. Фрунзе и в Академии Генерального штаба, среди боевых товарищей и друзей по учебе.

Людям остаются догадки. Якубу Кулиеву — бронзовая неподвижность.

Но она, эта неподвижность, не оставляет людей безразличными. Они хотят прочитать ее, угадать мысли человека, погибшего, чтобы они жили.

Подполковник запаса Александр Степанович Кибальников — годы побелили его голову, но не лишили стройности фигуру — кладет к постаменту свежие цветы. Он знал Кулиева, и ему внятны думы генерала.

Конечно же Кулиев поглощен мыслями о Родине. Они обнимают все — и близких, и друзей, и личную судьбу, и судьбу его народа. Не будь Родины, не было бы у него ни Зины, ни брата, ни сестры, — ничего и никого бы не было.

Что ж, ты прав, подполковник. Первой мыслью Кулиева была мысль об Отчизне. И он не изменит ей.

Школьники выстроились перед памятником. Букеты окружили пьедестал. Дети застыли в скорбном молчании.

А люди идут и идут. Они останавливаются возле монумента, обращаются к Якубу Кулиеву.

— Сынок! — произносит старая женщина. Ее имя — Зулейха-эдже [1].

— Якуб-джан! [2] — чуть слышно шепчет другая. Это Зинаида Васильевна, его жена.

— Милый брат! — окликает Бадысаба.

— Мой старший брат! — склоняет седую голову Гулам Кулиев.

Сухощавый мужчина — его лицо стянуто густой сетью морщин — уверенно говорит:

— Генерал Якуб Кулиев любил армию, армейскую жизнь. Он и сейчас в строю...

---

[1] Эдже — мама; тетя.

[2] Джан — душа.

Седой генерал приближается к монументу:

— Мы знали и любили тебя, Якуб. Ты был нашим другом, ты открыл нам Туркмению, ее народ — трудолюбивый и отважный. Для нас Туркмения — это прежде всего ты!

А молодой солдат, первогодок, тихо, как клятву, повторяет:

— Мы навсегда сохраним верность делу, за которое пал в бою генерал Кулиев...

Одни уходят, уступая место другим. Неторопливо и беззвучно несет свои воды Мургаб. Едва слышно шелестят зеленые кроны. Ничто не нарушает мысли Якуба Кулиева: ни люди, ни река, ни тополя.

...Я вспоминаю путь, пройденный Якубом Кулиевым — от рождения до этого бронзового монумента, открытого ветрам и солнцу.

МАЛЬЧИКИ

Ребятишки затаились. И вдруг один, нарушив тишину, закричал что было мочи:

— Онбаши! [1]

Гулам, извлекая из локтя занозу, нахмурился:

— Заткнись, не ори!

Подполз Якуб, потянул крикуна за полу рваной рубашки.

— Чего надрываешься? — Он смахнул пот, вытер лоснящийся лоб и продолжил сердито: — Думаешь, враг оглох? Он уже догадался, что мы здесь. Придется менять место. И все из-за тебя, горлодера!

Мальчики не заметили, как, осторожно ступая, подошел пограничник и нагнулся над ними.

— Ты прав, Якуб, ты — настоящий онбаши.

Он похлопал его по плечу.

---

[1] Онбаши — десятский, старший.

— Дядя Вася, — не унимался только что кричавший мальчик, — дядя Вася, вон там Черкез задрал голову. Я об этом и хотел сказать нашему онбаши.

— А ты думаешь, сам он ослеп, да? Он ничего не видит, да? Я собирался послать связного. Ты все испортил, сорвал нашу битву. Верно я говорю, дядя Вася? — обернулся Якуб к солдату.

Пограничник улыбнулся.

— Верно, верно. Ну, ребята, — он приложил руку к выгоревшей фуражке, — желаю вам боевой победы. Будь здоров, Якуб-онбаши.

Маленький Гулам с гордостью посмотрел на старшего брата. Вот и пограничник видит в его Якубе настоящего онбашн. Уж кто-кто, а дядя Вася знает толк в армейской службе.

И действительно, дядя Вася, большевик Василий Федорович Константинов, знал армейскую службу, знал службу на границе. Ребята не зря дорожили его словом.

— Дядя Вася, почаще приходи к нам, — попросил Якуб и, обращаясь к своим приятелям, строго скомандовал: — За мной, ползком на новую позицию!

Константинов оглянулся, посмотрел вслед ползущим по-пластунски мальчишкам. «Толковый паренек этот Якуб. Из него и впрямь мог бы получиться офицер. Впрочем, это — дело далекое».

...Что ни день, рождаются на земле дети. Матери надеются видеть их счастливыми. И когда двадцать пятого января тысяча девятисотого года в семье Аллакули-ага родился сын, отец и мать тоже мечтали, чтобы дни его текли в радости и довольстве. Радовалась и Зулейха-эдже, и Аллакули-ага. Им было покойно и хорошо.

— Как наречем сына? — спросила Зулейха-эдже, нарушив тишину. — Какое имя, отец, ты хочешь дать своему первенцу?

Аллакули-ага медленно поднял руку, притронулся к

морщинистому лбу, потом почесал заросший подбородок. Он был не стар, но годы уже успели провести борозды по его лицу.

— Я бы хотел, чтоб он носил имя Якуб. Ты согласна?

Зулейха-эдже поправила выбившиеся из-под платка волосы, помолчала.

— Ладно, — согласилась она, — пусть нашего сына зовут Якубом.

...Дети всегда дети. И те, что родились в селении Иолотани, как и родившиеся во всех других селениях и городах, кричали «уа-уа», держась за руку матери. Трудно по первым шажкам угадать, куда придет мальчик, когда он вырастет, когда на лице его пробьются усы, а ноги обретут уверенность и твердость. Среди мальчишек Иолотани некоторые мечтали стать учителями или жаждали славы табибов[1], видели себя поэтами или хотели власти арчина[2], полицейского. Иные воображали себя наездниками, солдатами, даже офицерами. Есть ли предел мальчишеским мечтам!

Якуб рос здоровым, проворным пареньком. Он быстро окреп, легко скакал на палочке, заменявшей пока коня. Он был в постоянном движении, в увлекательной игре, требовавшей ловкости, быстроты.

Но игры играми, а смуглый черноглазый мальчик хотел еще учиться, ходить в школу. Тут первые ребячьи мечты уперлись в трудноодолимую преграду. Аллакулиага, собирая овощи со своего надела, едва сводил концы с концами, чтобы прокормить семью. На этом жалком участке можно было поставить лишь юрту... Правда, жена занималась рукоделием и кое-что иной раз удавалось продать.

Мальчик понимал, что такое нужда, но его тянуло в школу, и он не уставал просить отца:

---

[1] Табиб — знахарь.

[2] Арчин — сельский старшина.

— Пусти меня учиться.

Рассудительная Зулейха-эдже подавала голос, поддерживая сына.

— Что говорить, нам не хватает на хлеб и одеты мы в рванье. И все-таки, отец, да будет так, как хочет мальчик. Будем делить на всех кусочек сухого чурека, но пусть наш первенец, Якуб-джан, посещает школу. А там подрастет Гулам-джан, поможет по дому. Да и дочь Бадысаба не сидит сложа руки. Как-нибудь прокормимся. Потом отдадим в учение и Гулам-джана. Не ходить же детям такими же темными, как их родители! Пусть учатся.

Аллакули-ага не надо было долго убеждать. Он и сам мечтал о том, чтоб сыновья получили образование. Вот только на что жить?.. Ну да ладно, где наша не пропадала...

И Аллакули-ага отвел Якуба в русско-туземную школу — была такая в Иолотани.

— Он у тебя знает русский? — спросил человек с рыжеватыми усами и клинышком подстриженной бородкой.

— Немножко знает. Но слабовато. — И, испугавшись, добавил: — Он у меня старательный, понятливый. Вы его чуть-чуть подучите, а там уж он сам...

— Сам? — переспросил учитель. — Ну, а расходы на учение осилишь?

— Раз уж привел, буду платить. Ничего не поделаешь, господин учитель.

Молча переминавшийся с ноги на ногу Якуб решил наконец вставить словечко:

— Я учусь русскому языку у дяди Васи, у русских солдат.

Учитель посмотрел на босые ноги мальчика, на латаные-перелатаные штаны и рубаху, провел рукой по усам и опустил ее на черную голову будущего ученика.

— Как тебя величать, добрый молодец?

— Меня зовут Якубом.

— Ну что ж, Якуб, примемся за учение. Не так ли?

— Так точно, ваше превосходительство!

— Э-э, — улыбнулся учитель, — вон ты, оказывается, какие слова знаешь!

— Это меня дядя Вася научил.

— Дядя Вася, — задумчиво повторил учитель. — Ох, всюду ты поспеваешь, Василий Федорович. Ну, да, как говорится, дай бог тебе здоровья.

Последние слова не предназначались Аллакули-ага, и он, не поняв их, уставился на учителя.

— Что вы сказали?

— Да это я так, про себя... Оставляйте сына и не тревожьтесь за него. У вас и без этого забот хватает...

— До свидания, папа, — проговорил Якуб и пошел за учителем.

А Аллакули-ага стоял и думал о своем сыне.

Так начались школьные дни маленького Якуба. Учение давалось не легко. Одно дело перекинуться двумя-тремя словами с дядей Васей, другое — следить за рассказом учителя. «Вах, если б он сказал по-туркменски», — думал огорченный Якуб. Но учитель продолжал по-русски.

Часы складывались в дни, дни в недели и месяцы. Сбылось обещание Аллакули-ага: «Вы его чуть-чуть подучите, а там уж он сам». Теперь Якуб без труда следил за речью учителя, понимая смысл ее. А когда пришел в школу Гулам, Якуб помог ему.

Где-то далеко-далеко шла первая мировая война. Теперь в школе говорили о сражениях и битвах, а после уроков играли в войну. Тут первенство безоговорочно признавалось за Якубом. Ровесники считали его старшим и подчинялись его командам. Он чаще, чем прежде, наведывался к пограничникам, слушал их рассказы.

Мог ли кто-нибудь тогда предположить, что смуглый

паренек в рваной рубашке станет прославленным генералом...

В один из дней Якуб с ребятами отправился на Мургаб ловить рыбу. Они уселись на берегу, закинули удочки, и вдруг налетел смерч, подняв в воздух клубы песка и невесть откуда взявшийся мусор. Тревожно зашумели, сгибаясь, камыши. Волны стали ходить по реке.

Якуб, сжимая в руке удилище, сказал:

— Только бы рыбу не распугал.

Но смерч улегся так же неожиданно, как налетел. На берегу появилась пьяная пара — офицер с женщиной. Нетвердо державшийся на ногах офицер уперся руками в бока, выпятил колесом грудь и, покачиваясь, пробормотал:

— Что вы здесь делаете, оборванцы?

Якуб предостерегающе поднял указательный палец.

— Тсс, господин офицер. А то рыбу распугаете.

Пьяный, ни слова не говоря, подошел к Якубу и что было силы ударил в ухо.

Испуганные мальчики окружили офицера.

— Что вы делаете? За что его?

— А ну, чернявые, не орать. А то сейчас...

Он вытащил из кобуры револьвер и показал на ведро с водой:

— Всю рыбу в ведро. Ясно? Кто утаит хоть одну, попадет сразу вон туда...

Офицер выстрелил вверх. Женщина в восторге заливалась пьяным смехом.

Мальчишки побросали в ведро свой улов и — давай бог ноги.

По пути им встретился Василий Федорович. Якуб схватил его за руку и все рассказал.

— За что, за что он нас, дядя Вася?

— Потерпи, Якуб, потерпите, ребята. Придет день, сочтемся с ними.

— Дядя Вася, — заговорил один из мальчиков, — по-

чему в Иолотани столько офицеров, полицейских, жандармов? Даже больше, чем местных жителей.

— Да разве только здесь? — заметил Константинов. — Царь их повсюду держит. Если б не это... — Он не договорил. — Вы еще не все понимаете. Да и не все взрослые понимают. Вот Аллакули-ага уже стал разбираться, что к чему. Придет и ваш час. Ну, а пока учитесь да смотрите, что вокруг делается, мотайте себе на ус. Так-то...

В 1916 году Аллакули-ага тяжело заболел и уже не поднялся с постели. Что ни день, ему становилось все хуже, и не было средства избавиться от недуга.

Когда Зулейха-эдже увидела, что наступает конец, она собрала возле него детей. Аллакули-ага попытался что-то сказать:

— Берегите мать...

Это были последние его слова. Последние.

И прежде не баловавшая их жизнь теперь навалилась на семью жестокой нуждой. Бездетный брат Зулейхи-эдже забрал к себе Бадысабу. Они остались втроем: Зулейха-эдже, Якуб и Гулам. Мать снесла на рынок последние связанные ею шерстяные носки. Якуб вспомнил слова отца. Надо было принимать решение. И он принял: расстался со школой, поступил чернорабочим на иолотанский хлопкоочистительный завод, потом на марыйский. Работа была сезонная, жалованье — мизерное. Но выбора не оставалось. Не сидеть же сложа руки в ожидании голодной смерти.

Когда кончался сезон и на заводе не было работы, Якуб нанимался поденщиком — подметал и поливал улицы. Гулам ходил на Мургаб, ловил рыбешек. Так они и перебивались.

Но это были дни не только нищеты и горя. Якуб постигал мудрость классовой борьбы. Он слушал рассказы рабочих, встречался с дядей Васей, навещал рыжеусого учителя. Он услышал о большевиках, о Ленине.

Весть о свержении царя отозвалась в Иолотани шумной демонстрацией. Дайхане из ближних селений шли вместе с горожанами. Кумачовые полотнища пылали непривычными словами: «Долой царя!», «Мир», «Долой империалистическую войну!»

С пением «Марсельезы» колонна направилась к местечку Гиндукуш. Здесь на здании плотины красовался портрет царя. Портрет сорвали, бросили на землю, растоптали.

— Зачем же топтать? — недоуменно спросил кто-то.

И Якуб услышал спокойный голос дяди Васи:

— Когда топчут царский портрет, топчут неравенство людей, которое насаждал царизм.

— Верно, товарищ Константинов, — поддержал пограничника рыжеусый учитель.

Эти реплики крепко запомнились Якубу. Он думал о них, хотел вникнуть в смысл слов о неравенстве, которому приходит конец, когда срывают царские портреты.

Через несколько дней он обратился к братишке:

— Присматривай за мамой, Гулам. А я с ребятами съезжу в Мары. Скоро вернусь.

Но вернулся не так быстро, как рассчитывал, — задержали революционные события — и не таким, каким уехал. Порог отчего дома переступил крепкий парень в ладных солдатских сапогах, в шапке с красной лентой. В руках он сжимал винтовку.

— Ты ли это, сынок? — воскликнула Зулейха-эдже, прижимая Якуба к груди. — Какая на тебе одежда! Каким славным джигитом стал мой верблюжонок!

Гулам, удивленный, замер в дверях с ведерком — он вернулся с рыбалки. Вид старшего брата настолько поразил его, что он не находил слов.

Якуб улыбнулся матери, осторожно высвободился из ее объятий и щелкнул по носу братишку.

— Я записался в Красную гвардию. Как ты полагаешь, Гулам, похож я на красногвардейца?

Восхищенный Гулам кивнул головой.

— Я тоже пойду в Красную гвардию.

— Пойдешь, дай срок. А пока побудь возле матери.

Якуб, опершись на винтовку, закурил. Он чувствовал: начинается новая полоса в его жизни, в жизни всех, кого он знал, и тех, кто оставался ему неведом,

Он опирался на винтовку, затягивался крепкой махоркой, и ветер великих перемен овевал его.

КОМАНДИР

Когда-то здесь шумела река, а теперь сухое русло превратилось в овраг. В овраге проходили красноармейские занятия. Помощник командира взвода Якуб Кулиев встал на свое место на правом фланге. Придерживая фуражку, он поднял голову. Высоко в небе тянулась цепочка — птицы, размахивая крыльями, летели на юг. Они скрылись из виду, и Якуб заметил облачко дыма, уловил горьковатый запах пороха. До него донеслись далекие винтовочные выстрелы, треск пулеметов, пушечная канонада.

Война добралась и до этого сухого, тихого оврага, поросшего чахлой травой и кустарником.

«Да, война продолжается, — думал Якуб, вспоминая недавние сражения, людей, падающих на землю, дома, превращенные в руины. — Война продолжается, хотя каждый из нас мечтает о мире. Но нет, видно, иного пути к нему иначе, как через борьбу. Никто не подарит нам мир. Глупо ждать этого от белогвардейцев, англичан и их местных холуев. Мир и свободу предстоит завоевывать самим. Как это поется: «Никто не даст нам избавленья...»

— Смирно!

Резкая команда прервала течение мыслей.

Якуб застыл, скосив глаза на командира, подавшего

команду. Это был статный мужчина с маузером в длинной деревянной кобуре, с саблей, покоившейся в узорных ножнах; кожаную куртку стягивали ремни.

— Слушайте приказ, — сказал командир, достал из кармана кожанки лист бумаги, расправил его и громко хриплым басом прочитал:

— Помощника командира взвода Якуба Кулиева назначаю командиром взвода...

Он не спеша сложил бумагу, сунул ее под портупею.

— Поздравляю товарища Кулиева с повышением по службе. А от вас, товарищи красноармейцы, требую безоговорочно выполнять его распоряжения. Ясно? Вопросов нет?

Командир обвел взглядом строй и уже совсем другим тоном закончил:

— Я и так не сомневаюсь, вы будете выполнять приказы Якуба Кулиева. Кому-кому, а уж вам-то известны его командирские способности, его смелость и боевые заслуги... Вольно!

Красноармейцы сбились вокруг нового взводного. Гулам обнял брата. Семен и Михаил Чебоксаровы жали его руку. Акмурад Джумаев еще с одним бойцом порывались качать командира.

Когда шум наконец улегся и красноармейцы успокоились, Якуб строго заметил:

— Веселиться будем, когда разобьем беляков. А пока что надо привести себя в порядок, подготовить коней, проверить оружие. Не сегодня завтра снова в бой. Давайте заниматься своими делами.

Не было нужды дважды повторять приказ. Лишь вчера полк, в котором находился взвод Якуба, вывели во второй эшелон, дали передышку. Но на войне отдых короток. Прозвучит новая команда — и снова бой.

Якуб Кулиев почистил винтовку, спустился на дно оврага, прилег на сухую выгоревшую траву.

«Командир взвода — чудно даже. Кто ты такой, Якуб,

чтоб иметь власть над людьми? Какого ты роду-племени?» Он зажмурил глаза, задумался... «Почему, отец, ты никогда не рассказывал мне историю нашей семьи?» — «Помилуй, сынок, — отвечал Аллакули-ага, — какая может быть история у нашей семьи! Никто из нас не приближался к трону, не видел ничего, кроме нищеты и черной работы. Ничего...» — «Но, папа, — нетерпеливо перебил Якуб, — благодаря работе, черной работе таких, как ты, и существует человечество, развивается его история. На этой работе держится все, в том числе и троны, которые мы хотим сбросить, чтоб дать людям свободу. Ты не должен принижать себя, папа». — «Эка, куда ты махнул, сынок, издалека заводишь песнь». — «Увы, я еще не так далеко вижу и не так много знаю. Я всего-навсего овладеваю начальной премудростью. Но я хочу знать, мне надо знать историю нашей семьи». — «Если ты настаиваешь, — тяжело вздохнул Аллакули-ага. — Что ж, пусть будет по-твоему... Когда-то мы жили в Азербайджане, в Шуше. Это — Нагорный Карабах, то самое место, где царь разжигал вражду между армянами и турками, натравливал одних на других, и вражда эта приводила к дикой резне. Спасаясь от кровопролития, в надежде на лучшие дни, мы перебрались сюда, в Иолотань. Когда мы переехали в Туркменистан, тебе было шесть месяцев. Здесь, в Туркмении, родились Гулам и Бадысаба. Мы себя считаем туркменами, да и все считают нас ими. И то сказать: какая разница между бедняком-туркменом и бедняком-азербайджанцем?.. Эту ли историю ты жаждал услышать, мой сын? Другой, по крайней мере, я не знаю». — «Эту, отец», — проговорил Якуб. Он видел согбенные плечи отца, его потрескавшиеся руки, вечно занятые работой; ввалившиеся, потускневшие глаза, запавшие, морщинистые щеки, пропыленные брови. «Оказывается, папа, у нашей семьи большая, славная история. Нам есть что вспомнить». — «Не знаю, сынок, — неуверенно пожал плечами Аллаку-

ли-ага. — Тебе виднее — долгая она или короткая. Ты знаешь больше меня, ты больше меия учился...»

Якуб хотел возразить отцу: не так-то уж много он зиает. Пока что ие удавалось толком поучиться. Армия требовала физической сиоровки, ловкости, силы. Он, конечио, заиимался. Но чаще всего иа турнике, на брусьях. Тут чувствовал себя увереиио. Прыгал, крутился на перекладине. Подтягивался иа руках, резко перевертывался — так что пол меиялся местами с потолком.

Комаидир оставался довольным.

— Хов, Кулиев, ты прямо родился спортсмеиом!

...Якуб лежал иа пожелтевшей траве и следил за бабочкой, порхавшей с былинки на былинку. Он потряс кустик. Бабочка улетела. От слабого движеиия поднялась пыль. Ветер уиес ее. Тихо и знойно в овраге. Воспоминаиия иаползают одио за другим...

1918 год. Якуб Кулиев — доброволец социалистической роты Марыйского городского Совета рабоче-дайханских депутатов. Да, это была нелегкая служба. Но он, кажется, зарекомеидовал себя иастоящим джигитом...

На память пришел Атчапар Тахиров. Хороший был парень, смелый. А иет его. Борьба собирала жертвы. Особеиио тяжелым был девятнадцатый год. Из боя в бой. Разгром баид Рахманииз-хаиа, Гиндукушская битва, схватки у села Алныш.

— Да, иемало мы успели повидать.

Эти слова Якуб произнес вслух.

— Ты, кажется, сам с собой разговариваешь, вроде как бредишь, — удивился Гулам. Он тихо подошел; старший брат даже ие заметил когда.

— Нет, не брежу. Я думаю: сколько мы уже повидали за иаши недолгие годы! И сколько еще увидим...

Ои подиялся, придирчиво оглядел младшего брата.

— Что-то у тебя мятая гимнастерка. Или ты дума-

ешь, что на тебя не распространяется дисциплина? — усмехнулся Якуб. — Думаешь, раз брат командир...

— Ничего я не думаю. — Гулам не принял шутливого тона. Он вытянулся, опустил руки. — Виноват, товарищ командир. Простите. Учту ваше замечание.

— Ну ладно, учти.

Гулам ушел. Якуб раскурил папиросу, затянулся. Снова лег на траву. Что за странный день — воспоминания не отпускали его. Как это сказал дядя Зейнал, когда однажды приехал из Азербайджана к ним в гости в Иолотань.

— Да будут светлыми места, где покоится прах бедняги Аллакули!

Но почему он заговорил об этих местах? Ага, он беспокоился о сестре. Конечно, нелегко покинуть землю, где похоронен муж. Однако как ей там жить? Якуб и Гулам — в Красной Армии. Забот хватает. То туда, то сюда. Домой наведываются редкими гостями. Нет, он их не упрекает, он гордится ими. Да и понимает: Туркменистан — им родина. Вообще какая может быть разница между туркменами и азербайджанцами? Он, Зейнал, не видит никакой разницы. Он хочет, чтоб туркменам и азербайджанцам, да и всем людям, жилось на земле вольготно. Его только тревожит судьба сестры. Уж больно она одинока. Не податься ли ей к брату? Тем более что Бадысаба уже перебралась к нему. Как думают племянники, как смотрят на его план?

Что ж, племянники не возражают. Не им учить дядю, который немало повидал на своем веку, которого они чтят за умные слова и справедливость. Им понятна его забота о родной сестре. И дорога. Он, конечно, близкий Зулейхе-эдже человек. Куда ей податься, коль не к нему? Вот только они, Якуб и Гулам, будут тосковать без мамы. Они и так скучают после отъезда сестры.

Разговор тянулся долго, он был тяжел для всех. Конец ему положила Зулейха-эдже. Она терпеливо выслу-

шала сыновей н брата. Ей дорога их забота. Но она не хочет быть обузой для сыновей. Да, да, обузой. Пусть они не спорят... Они тревожатся нз-за нее, зная о ее одиночестве... Потом, когда наступят счастливые, мирные дни, — а они их дождутся! — вся семья соберется под одной крышей. И она, Зулейха-эдже, будет со своими сыновьями. Вместе с ними будет и их сестра Бадысаба...

Да, наступят такие днн. Якуб твердо вернт. Но хватит уже валяться на траве, предаваться воспоминаниям. Сколько можно? Дел по горло.

Якуб решительно встал, одернул гнмнастерку, подтянул ремень. Как-ннкак он — команднр взвода. Даже вид его должен напоминать об этом.

Назавтра Якуб придирчиво провернл готовность бойцов, осмотрел оружие, коней. Днем, когда солнце поднялось в зенит, он получил прнказ. С наступлением темноты предстояло скрытно выдвннуться на передовую.

В землянке взводного собрались командиры отделений. Якуб объяснил задачу.

— Цель — все та же: разбнть врага, избавить народ от опасностн. Сделать так, чтоб люди могли пользоваться благами революции... Да что я вас агнтирую, — прервал Якуб самого себя, — вам н так все нзвестно. Надо только сделать по-умному. Выступаем, джигиты, когда стемнеет. В каждом отделении надо изготовить четыре — шесть чучел. Смастернть на совесть, чтобы были похожи на настоящих красноармейцев.

Командиры отделений пожали плечами. Однако ннкто не возразил. Они догадывались: у взводного свой план, придет время — н он раскроет его.

На столе, кое-как сколоченном из досок, стояла коптнлка, сделанная нз снарядной гильзы, лежала топографическая карта.

— Прошу всех к карте, — прнгласнл Якуб, отодвинув гнльзу.

Он подробно объяснил маршрут каждого отделения,

показал места, где можно укрыться. Важно было не обнаруживать себя до срока.

— Товарищ командир, — неуверенно обратился один из отделенных, — неужели будем атаковать в лоб?

Все молчали, уставившись на Якуба. А он не спешил нарушить молчание.

— Ты прав, — потрепал он по плечу командира отделения, — невелика мудрость атаковать в лоб. Особенно когда наступать приходится на открытом месте. Атакующие превращаются в живые мишени. Враг бьет на выбор... Пока что об атаке ничего не говорите бойцам. Объясните им задачу, пути подхода. А об атаке я сам сообщу.

Отделенные ушли. Кулиев снова склонился над картой. Легко сказать: так сделайте или эдак сделайте. А как на самом деле найти разумное решение? В этом-то вся загвоздка... Гражданская война идет к концу. С интервентами тоже скоро разделаемся. Теперь уже нет сомнений. Но какой ценой оплачивается победа! Сколько людей пало в боях!.. Сейчас он ставил задачу командирам отделений. Как сделать, чтоб они выполнили ее с малыми потерями? Чтоб красноармейцы вернулись после боев к своим семьям, а не легли в землю! Ведь их ждут не дождутся близкие. Их ждет великая работа...

Он сидел, опершись на локти, думал. Свет пробивался сквозь узкое окошко землянки и падал на карту, расстеленную на столе.

Сколько боев позади— удачных и неудачных. И командиры попадались разные. Один командир — он, Якуб, это помнит отчетливо, как если б случилось вчера, — выхватил наган, бросился вперед: «За мной! Ура!» Пробежал шагов десять — пятнадцать. И рухнул. Как подкошенные падали бежавшие следом за ним красноармейцы. Атака захлебнулась. Раненые, истекая кровью, ползли назад. Темнели на выжженной земле тела убитых.

Командир полка — Якуб это сам слышал — гневно воскликнул:

— Разве можно так вести бой! Глаза есть, уши есть, а головы нет на плечах. Не напрасно говоряг: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Велика ли мудрость: «Вперед! Ура!» А потом...

Командир полка не договорил, махнул рукой.

Семь раз отмерь... Это верно. Не меньше, чем семь раз, а уж потом резать.

Якуб стукнул кулаком о стол. Сложил карту, сунул ее в полевую сумку и вышел из землянки.

Красноармейцы, обмениваясь шутками, мастерили чучела.

— У меня как живой, поглядите, товарищ командир!

— И у меня не хуже!

Якуб останавливался возле каждого. Расспрашивал о том о сем, стараясь уловить настроение.

Кажется, он все предусмотрел, ничего не забыл. Однако лишь бой способен выявить степень подготовки.

Один из красноармейцев вплотную подошел к Якубу и негромко произнес:

— Товарищ командир взвода, вы начинали рядовым, и вас, вероятно, не удивят мои слова.

— Говорите, — ободрил Кулиев бойца, — я вас слушаю.

— Вы были рядовым и знаете: боец чувствует, когда о нем заботятся, а когда — забывают... У меня одна просьба. Помните о бойцах. Постарайтесь взять победу малой кровью... Я бы не осмелился сказать об этом офицеру старой армии. Но вы — другое дело. Вы — наш командир. Вы такой же бедняк, как и мы. И армия наша бедняцкая, из крестьян и рабочих. Мы бьемся за общее дело... Не сочтете мои слова за обиду?

— Нет, не сочту.

Кулиев обнял красноармейца.

— Я благодарен вам. Вы сказали то, о чем я сам думаю. Мне дорогн н слова ваши, н доверне. Я ие забуду о бойцах. Клянусь вам!

В тот вечер он нн с кем больше не говорил. Неотступные мысли теснились в голове.

В ночном мраке взвод двигался к передовой. Нн звука, нн кашля. Не мелькнет цигарка. И лошади, подражая хозяевам, неслышно ступали по земле. Словно понимали: нужна тишина. Лишь звезды поблескивали в темной вышине.

Когда взвод приблизился к передовой, навстречу вышел командир полка. Он отозвал Якуба в сторонку:

— Приказ ясен?

— Не совсем.

— То есть как «не совсем»? Что ие ясно?

— Место, где говорится «атаковать противника в лоб».

Командир полка не спешил с ответом. Ему хотелось получше разглядеть нового взводного. Но что увидишь в этой кромешной мгле? Голос у парня звучит уверенно, твердо. Видно, не боится задавать вопросы.

— Ну, а как вы сами думаете? У вас есть какие-нибудь соображения?

— Есть.

— Выкладывайте. Я слушаю.

Он говорил сухо, сдержанно. Однако Якуб безошибочно почувствовал: командиру полка хочется знать его мысли.

— Я бы предпочел удар во фланг. Особенно если фланг открыт. А это выявит разведка. Найдя щель — а фронт здесь не может быть сплошным, — зайду с тыла. И ударю, едва поднимется солнце.

— Комбинированный удар с тыла и с фронта? Но хва-

тит ли у тебя сил? Помни, командирская ошибка начинается с той минуты, когда он недооценивает противника.

— Я имел это в виду. Мы смастерили чучела. Не отличишь от красноармейцев.

— Какне чучела? Зачем?

— Несколько бойцов должны вести огонь с быстротой, на какую способны. Человек десять—двенадцать будут бегать, выставив над окопами чучела. Чучела будут падать, вставать, снова подниматься. У неприятеля появится впечатление, будто перед фронтом немалые силы. Сюда он и сосредоточит весь огонь, все виимание. Хотя в окопе будут лишь остатки двух обескровленных взводов, которые сейчас занимают оборону. Им-то мы и передадим чучела. Ну, а сами, как я докладывал, ударим с тыла.

— Неплохо придумано, — тихо сказал командир полка. — Но ведь знаете как бывает: придумаешь одио, а выходит совсем другое?

— Знаю. Разрешите выполиять?

Разведка флангов прошла успешно. Якуб Кулиев нашел проход в расположении протнвника. Его взвод пробрался в тыл врага, залег в низине, изготовился к броску.

Когда всходнло солнце, ударилн винтовки взводов, занимавших оборону перед фронтом. В полный рост поднялись чучела. Противник обрушил на иих огонь из пулеметов и винтовок.

Тогда-то Якуб и бросил в атаку своих бойцов. Красиоармейцы с клинками наголо обрушнлнсь на беляков. Те, побросав оружие, пустились кто куда. Но немногим посчастлнвилось уйти. Те, кто не погиб, сдались в плен.

Бойцы привели к Якубу запыленного офицера в рваиой гимнастерке с болтающимся на одном плече погоиом.

— Не желает разговаривать, не признает нас. Требует, чтоб его привели к офицеру.

— Ну, что ему надо? — устало спросил Якуб, поднимая глаза на офицера. Где-то он его видел. Откуда-то ему знакомо это лицо с мелкими чертами, нагловатым взглядом прозрачных глаз.

— Э-э, да это старый знакомый, — Якубу стало весело. — Что вы понапрасну шумите, господин офицер? Рыбок можете распугать. Вы меня не припомните? А я вас помню. Как вы, пьяный, пришли на берег Мургаба и ни с того ни с сего стукнули по уху чернявого мальчишку, потом отобрали у него и остальных ребят улов. Вы были очень довольны собой, господин офицер, вы даже на радостях палили в воздух.

Офицер не произнес ни слова. Неужели перед ним тот черномазый пацан, который теперь сумел его победить, взять в плен!

— Скажу честно, господин офицер, — продолжал Якуб, — мне бы хотелось вам отомстить. И не только за давнюю встречу на Мургабе, но и за кровь, которая пролилась по вашей вине. Но я не унижусь до мести. Вас будет судить военный трибунал. Будет судить, как вы того заслужили. Во главе трибунала стоит человек, который лучше меня знает вас, — Василий Федорович Константинов. Так что вам предстоит еще одна встреча. Боюсь, она будет не из приятных... Уведите его.

К Кулиеву подошел красноармеец, который перед боем обратился с просьбой беречь солдатскую кровь.

— Обычно командир благодарит бойцов. Но мне хотелось сказать вам, моему командиру, слова красноармейской благодарности...

А вечером пришел командир полка. Он ничего не сказал. Молча пожал руку взводному. И это молчаливое пожатие запомнилось Якубу Кулиеву так же, как сдержанные слова красноармейца.

Время полнилось боями и походами. День начинался в одном месте, кончался в другом. Искры летели из-под конских копыт, свистели в воздухе камни. В окрестностях Иолотани и Мары, близ Теджена и Каахка, возле Геок-Тепе и Бахардена, на подступах к Ербенту и Ташаузу не осталось камня, на который не опустил бы копыта конь Якуба.

Якуб Кулиев служил в Рабоче-Крестьянской Красной Армии, в войсках ВЧК и ОГПУ. Красный командир, он преследовал вражеские банды, не на жизнь, а на смерть бился с ними. В какие только передряги не попадал, свидетелем каких только случаев не был!

Однажды отряд Якуба догнал в песках одну из басмаческих банд. Красноармейцы навели винтовки, но не спешили открывать огонь. Осаживая взмыленного коня, Кулиев скомандовал бандитам:

— Стой! Ни с места! Бросай оружие!

Басмачи один за другим поднимали руки. Поднял руки и одноглазый толстяк с вислыми усами. Перед ним была привязана к крупу белого коня девушка. Ее стянутые веревками руки и ноги затекли. Она с трудом опустилась на землю, когда Якуб приказал развязать веревки.

— Этому бурдюку нечего делать на коне. Пусть топает пешком, немножко растрясет свое брюхо...

Тем временем на верблюде прискакал человек с окладистой бородой. Он бросился к девушке, прижал ее к груди.

— Доченька!.. Я только вернулся с коша...

— Отец! — зарыдала девушка. Она не могла сказать ни слова. Лишь кивнула головой в сторону толстяка.

Отец бросился к одноглазому. Ударил по лицу и, забывшись в гневе, выхватил нож. По знаку Якуба красно-

армейцы удержали разгневанного отца. Немного успокоившись, он приблизился к Кулиеву.

— Да воздаст тебе аллах, сын мой. Ты поступил как мужчина. Ты спас мою дочь!

Отряду предстояло продолжать путь. Человек с окладистой бородой, взяв дочь, возвратился к себе. Вскоре Якуб забыл о происшествии. Но когда вечером, закусив чуреком и попив чаю, он лег спать, то увидел во сне освобожденную красавицу. Она была еще прекраснее, чем наяву. И голос звенел нежно-нежно. Она что-то говорила Якубу. Он не понимал слов. Но глаза ее были красноречивее речи. Якуб хотел броситься к ней. Однако ноги не послушались его. Тут появился отец. Поглаживая окладистую бороду, он склонил голову и обратился к Якубу:

«Ты спас мою дочь, и да будет она твоя. Да будет счастье в вашем доме!»

Якуб растерялся. Он не мог отвести глаз от красавицы. Но и принять этот подарок тоже не мог.

«Что вы говорите, яшули![1] Мыслимое ли это дело. Я сражаюсь не за собственное счастье. Мы бьемся за счастье всех людей...»

Он беспокойно ворочался, что-то бормотал во сне. Красноармеец, стоявший на часах, сочувственно покачал головой:

— Нашему командиру нет покоя и ночью. Все заботы, заботы...

Покоя и впрямь не было. Днем переходы, перестрелки, а ночью эти тревожные сны, красавица... Его сверстники женились, а он мотался со своим отрядом, уничтожая басмачей.

Весной 1924 года кавалерийский эскадрон, где Якуб Кулиев служил командиром взвода, вступил в Байрам-

[1] Яшули — уважительное обращение к старшему по возрасту мужчине.

Али. Жители высыпали на улицы. Радостными улыбками и цветамн встречалн онн красных конников.

Девушка с большнми голубымн глазамн и русой косой метнулась к белому коню Якуба.

— Это вам, — она протянула букет.

Кулнев нагнулся и быстро поцеловал девушку в лоб.

— Спаснбо, мнлая!

«Кажется, не во сне», — подумал он.

Девушка смутилась. Но продолжала идти у стремени.

— Вы много сражалнсь, часто бывали в боях?

— Много. Но, как вндно, еще придется. И не раз... А как твое нмя, девушка, скажн? Я хочу запомнить.

— Меня зовут Зина, — засмеялась девушка.

Смущенне прошло. Она чувствовала себя спокойно.

— А как тебя звать, товарнщ команднр?

— Я — Якуб. Не забудешь, Зина-джан?

— Нет, не забуду.

Эскадрон свернул на боковую улицу. Якуб оглянулся. Знна махала рукой. Он обернулся еще раз. Знна стояла с поднятой рукой.

Что такое любовь с первого взгляда? Существует ли она? Нн Зина, ни Якуб не задавалнсь этнмн вопросами. Они просто не моглн забыть друг друга.

Шлн дни, а девушка с цветами стояла перед глазамн Якуба. «Меня зовут Знна», — слышал он то ночью, то на марше. Знна, Знна, Знна... «А как тебя звать?»—«Я — Якуб».

Мннутамн ему хотелось нзбавнться от наваждения. Но ничего не получалось. Он видел смеющиеся голубые глаза, русую косу, перекинутую через плечо. Знна, Зина...

«Неужелн ты надеешься снова ее увндеть? Илн ты думаешь, будто в Байрам-Алн только одна девушка носит такое нмя? Байрам-Али не маленькое село, с одного конца которого вндно другой н, если кто-ннбудь чихнет на одном, слышно на другом. Тут возможны десять, или двадцать, илн трндцать Зин. Ну, как ты отыщешь ту, свою,

виденную один-единственный раз? Может быть, будешь останавливать всех прохожих, спрашивать: не знаете ли вы, где живет Зина? Это же смешно. Да и кто тебе сказал, будто она тебя ждет? Может быть, у нее возлюбленный, жених. А ты все свое: Зина, Зина, Зина...»

Доводы были вполне разумные. Однако они ничего, ровным счетом ничего не меняли. Девушка с большими голубыми глазами стояла перед ним.

Якуб посмотрел на небо.

Если гору любви повесить на шею небу,
Дрогнет небо, не выдержит этой муки...

«Как же верно сказал Махтумкули! Видно, он, бедняга, хорошо знал, каков груз любви...»

А Зина тоже не могла забыть Якуба. «Как твое имя, девушка?» «Он хотел знать мое имя. Но запомнил ли его? Запомнил ли так, как я запомнила, что его зовут Якуб, что у него черные глаза, а конь подобен белой птице...» Зина сердито обрывала себя. К чему эти пустые мечтания? Почему он должен о ней помнить? Кто она такая? Девушка, случайно выбежавшая ему навстречу с букетом... «Даже не догадалась узнать фамилию. А зачем, зачем мне его фамилия? Уж не намереваюсь ли я разыскивать его? Этого еще не хватало. А может быть, он женат? Вряд ли. Когда было ему жениться? Все время на коне. Что он видел, кроме сражений, кроме пыли бесконечных дорог; что слышал, кроме свиста ветра и пуль? Но все равно, надо забыть. Забыть раз и навсегда. Даже стыдно. Якуб, я молю, оставь, отпусти меня».

Но тщетны заклинания. «Как твое имя, девушка?» «Я — Якуб!» Белый, как птица, жеребец гарцует под ним. Якуб наклоняется, целует ее в лоб. И ей ничуть не страшно. Даже смущение быстро прошло. Хоть видела она его считанные минуты. Наверное, не больше пяти минут. «Спасибо, милая!» Она снова и снова протягивает ему букет роз.

При чем тут розы? У нее на голове наушники, она дежурит на телефонной станции и не должна отвлекаться. Ни в коем случае не должна. Если она будет все время думать о Якубе...

— Зинаида Васильевна, что с вами происходит? Я впервые вас вижу в таком состоянии. Вы даже не слышите звонков... — Начальник станции негодующе качает головой. — Так нельзя, товарищ Кузнецова, никуда не годится. Мне уже сегодня несколько человек жаловались.

— Простите, я возьму себя в руки. Больше жалоб не будет.

Начальник недоверчиво пожал плечами и, ничего не сказав, вышел из комнаты.

...Выдался свободный день, и Якуб Кулиев решил пройтись по городу. Он тщательно готовился к прогулке. Куда тщательнее, чем обычно. До синевы выбрил щеки. До блеска начистил сапоги и пуговицы. Отутюженная гимнастерка — словно только что со склада.

Похлопывая прутиком по сапогу, Якуб идет вдоль главной улицы Байрам-Али. Прутик в левой руке, правую то и дело он подносит к виску, приветствуя встречных командиров и красноармейцев. Но если сказать по правде, он машинально повторял эти движения. Его внимание приковано к девушкам, гулявшим по городу. Он вглядывался в их лица. Он напоминал человека, который потерял нечто жизненно необходимое, однако надеялся найти.

Якуб не спеша прошел по главной улице и повернул обратно. Потом свернул в переулок, прошел по соседней улице, еще по какой-то.

Но Зины не было. Не встретилось ни одной девушки, хотя бы отдаленно напоминающей ее. «А есть ли похожие? Наверно, есть. Но Зина — одна, единственная на свете».

Он вспоминал ее глаза, русую косу, белые пальцы, сжимавшие стебли роз. «Нет, с ней никто не может сравниться. Я найду, слышишь, Зина, я найду тебя!»

И снова бродил по улицам, сворачивал в кривые переулки.

Вечером, порядком устав от затянувшейся прогулки, он забрел в городской парк. Закурил, прислонившись к дереву, затянулся раз, другой. Нет, ему положительно не везет. Не везет, да и только. Вон кругом сколько нарядных и веселых девушек. А Зины нет.

Стайка веселых девчат, смеясь, проходила мимо. Лишь одна шла, ничего не замечая.

— Что с тобой, подружка, ты не в себе? Или потеряла что-нибудь?

— Нет, я так...

Ответила она так же безразлично, как гуляла с подругами. Подняла глаза и замерла. Под деревом, с папиросой, зажатой в зубах, с прутиком в руке, стоял военный. Он бросил папиросу. Сделал шаг навстречу девушкам. Его черные глаза впились в голубые глаза застывшей в растерянности красавицы с русой косой.

Это продолжалось минуту. А может быть, вечность. Время остановилось.

— Зина! — выдохнул он.

— Якуб, — чуть слышно прошептала она.

— Девчата, нам здесь делать нечего, — заливисто крикнула одна.

И стайка разлетелась.

Они стояли друг против друга, Якуб и Зина. Между ними струился арык. Текли минуты.

Якуб перемахнул через арык.

— Я — Якуб, — сказал он.

— Меня зовут Зина, — тихо отозвалась она.

— Якуб!

— Зина!

Слабый вечерний ветер шевелил листву деревьев. Людские волны перекатывались по аллеям городского парка. Среди ветвей покачивались фонари. Тени падали на землю, причудливо ломались.

— Где ты был, Якуб? — спросила Зина.

— Я искал тебя. А ты?

— Я искала тебя...

Странно, тогда, в день первой встречи, она так легко одолела свое смущение. А сейчас каждое слово давалось с трудом. Надо было преодолевать какую-то преграду. Ей не хотелось говорить. Только бы молчать. Хотя так много слов было!

Парень подвел Зину к скамейке. Они молча сели. Якуб чувствовал: он должен что-то сделать, что-то сказать.

— Я сейчас вернусь... Через минутку.

Нет, совсем не это он хотел сказать. Но слова произнесены. Якуб сорвался с места. Прежде чем Зина опомнилась, он снова стоял перед ней, протягивая две порции мороженого.

— Мне обе? — рассмеялась Зина. — Не согласна. Одна тебе.

— Я — военный. Мне не к лицу...

Она подняла на него глаза.

— Если ты говоришь — это приказ. Пусть будет по-твоему.

К Зине возвращалась свобода. Она могла говорить. Как это он хорошо придумал, взял и принес мороженое!

— Как твое имя, девушка?

— Меня зовут Зина. А как тебя звать?

Это уже была игра, их игра.

— Я ничего про тебя не знаю, Якуб.

— Я служу в Красной Армии.

— Это мне известно. Я хочу узнать о тебе, о твоей жизни. Все знать. Понимаешь?

Он говорил сбивчиво, перескакивая с одного на дру-

гое. Она хочет все знать, она должна все знать о нем. Конечно, должна. Он ей расскажет об отце и о матери. О Гуламе и Бадысабе. И об учителе с рыжими усами, и о Василии Федоровиче Константинове. Да, не забыть бы о том пьяном офицере, об их двух встречах.

— Надо же, — удивилась Зина.

А он продолжал. Он говорил о своих товарищах. О смелом Атчапаре Тахирове, о Якове Аркадьевиче Мелькумове. А еще он рассказал о старике с окладистой бородой, о его дочери, об одноглазом толстяке.

— Ты — хороший человек, Якуб.

— Мне хорошо с тобой, Зина.

— Пусть чаще звучит у нас это слово: «хорошо».

— Да, — согласился Якуб. — Я столько рассказал о себе и ничего не знаю о тебе.

— Меня зовут Зина, — рассмеялась она. — Зина Кузнецова.

— Кузнецова, — повторил он. — Хорошая фамилия. Ку-зне-цо-ва!

— Я родилась в девятьсот шестом году в Вятской губернии. А перед войной мы переехали в Байрам-Али. Мой отец — старый большевик. Он тяжело болел и в прошлом году умер. Я работаю, а мама дома. Я комсомолка и люблю трудиться. Только один раз из-за тебя чуть не получила выговор.

— Из-за меня? — удивился Якуб.

— Об этом я расскажу в другой раз, — смутившись, пообещала Зина. — Мы ведь еще увидимся? Ладно, я не буду ни о чем спрашивать.

Он видел: Зина волнуется, ей нелегко. И снова побежал за мороженым.

Когда Якуб вернулся, она пришла в себя.

— Опять мороженое? Ты хочешь, чтобы я заледенела?

— Нет, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я задам лишь один вопрос: когда будет свадьба?

— Ты слишком нетерпелив, Якуб, — помолчав, сказала Зина. — Не надо торопиться. Мы еще почти не знаем друг друга. Не спорь, почти не знаем. И ты не знаешь моей мамы. Я хочу, чтобы ты с ней познакомился, чтоб понравился ей. Словом, не торопись, Якуб. Я прошу тебя.

— Раз ты говоришь: не торопись, — я не буду торопиться. Твоя воля...

Он не договорил и прижался губами к ее руке.

ПУЛЕМЕТЧИК

Лето 1930 года. Песок метет над Каракумами. Горячий ветер гонит его по пустыне, шевелит желтые волны, играет ими. Лица, одежда красноармейцев припорошены песком. Они похожи друг на друга, бойцы в полинявшем, пропыленном обмундировании. Только пристально вглядевшись в усталые лица, можно понять, кто перед тобой.

Ветер улегся. В раскаленном мареве дрожит пустыня. Не шелохнется кустарник. Неподвижен еще недавно струившийся песок.

Бойцы откручивают пустые фляжки, цедят последние — не больше птичьей слезы — капли.

Не выдерживают даже привыкшие к неистовому солнцу кусты селины, сазака, перекати-поля. Мелькнет в барханах змея, пробежит варан или заяц, вынырнет суслик. Но и они не нарушают изнурительного однообразия знойной пустыни. И им не под силу это солнце. Суслик скрывается в норе, исчезает в песке змея.

И вдруг ветер. Порывистый, жаркий, как дыхание костра. Стих ветер, и солнце снова вонзило раскаленные кинжалы своих лучей.

Тяжко, прерывисто дышит, задыхается пустыня.

Но Каракумы — не только зыбучий песок. Это еще и кровь. Кровь льется за каждый колодец. И неизвестно, чего больше — воды в колодце или крови, пролитой за него.

Знойный ветер проносится над барханами. В ветре этом слышится посвист пуль.

Давно кончилась гражданская война, мир пришел в занятые созидательным трудом города и села страны. А здесь не стихает битва. Врагу не по душе мирный труд, не по душе колхозы. Обреченный, он не желает принимать свою участь. Опасна пуля, вылетевшая из-за угла. Страшен удар кривой сабли из-за спины.

Большой отряд, которым командовал начальник военной школы Якуб Кулиев, уже не первый день бьется с бандами, настигая их остатки, рассеянные по пустыне.

Перед командиром замер сухощавый паренек с выцветшими бровями.

Только что улеглась пыль, и Якуб всматривался в темневший впереди холм.

— Видишь, Ниязов?

Он протянул руку в сторону холма.

Командир взвода пулеметчиков Молла Ниязов, не меняя позы, ответил:

— Вижу, товарищ командир отряда.

— Раз видишь, веди свой взвод к холму и будь готов открыть огонь.

— Есть!

Якуб с улыбкой посмотрел вслед Ниязову. Да, этот лишних слов не любит. Якуб знает его с двадцатых годов. Не один пуд соли съели. Вместе служили, вместе воевали. Ниязов учился у Кулиева в школе, готовившей командиров из местных парней. Любо-дорого глянуть, когда скачет во весь опор Ниязов. Сабля в зубах, и в каждой руке по сабле. Он первый в рубке лозы. В боевой сечи он тоже не оплошает.

В любых обстоятельствах Якуб мог положиться на Ниязова. Как бы ни сложилась обстановка, он не подведет.

Кулиев следил в бинокль, как Ниязов со своими людьми приближался к холму.

— Верно, все правильио, молодец Молла...

У Якуба Кулиева иемалый боевой опыт. Ои может оценить смелость и мастерство своих подчииенных. Великая школа позади у Якуба, эта школа называется жизнью. Жизнью, полиой боев. Ои, командир-коммуиист, побывал в десятках сражений, удостоен правительственных наград. Не раз получал благодарности от комбрига Якова Аркадьевича Мелькумова.

Он уже водил в атаку эскадрон, закончил одногодичиые курсы при кавалерийской школе в Новочеркасске. А теперь второй год начальник полковой школы. Учеба учебой, а бои боями.

Не опуская бинокль, Кулиев покосился иаправо. Низиной продвигался взвод Берды Гуджалова. Впереди долговязый Берды.

Кулиев усмехнулся, вспомнив иеизменно улыбающееся лицо Гуджалова.

— Хороший командир. Они с Ниязовым — достойиая пара. Можио положиться. Согласеи со миой? — спросил он связиого.

— Верно говорите, товарищ комаидир, — кивиул боец.

— Верио-то верно. Однако...

Из-за холма раздалась пулеметная очередь. Якуб Кулиев посмотрел в бинокль. Что-то непонятное. Вот иа холм подиялся Молла. Одии боец опустился рядом, возле залег другой. Но пули, пущеииые из вражеского пулемета, почему-то их не задевали, летели куда-то вверх.

«Что за чертовщина? — думал Кулиев. — Почему басмачи пускают пули в иебо?»

— Ага, вот оно...

— Что вы сказали, товарищ командир? — нетерпеливо спросил связной.

— Ты еще тут? — удивился Кулиев.

— А где же мие быть? Вы меня никуда ие посылали.

— Быстро! Одна нога здесь, другая — там. Пусть Молла Ниязов и Берды Гуджалов пошлют конников и спасут пулеметчика басмачей! Ясно?

— Как это «спасут», товарищ командир?

— Да, да, спасут. Поторапливайся... Они поймут! Только быстрее!..

Связной вскочил в седло, огрел коня камчой, конь помчался вихрем.

Якуб опустил бинокль, зажег папиросу. В самые неожиданные минуты он начинал разговор с Зиной и с сыном. «Ну, вот видите, дорогие мои, ничего со мной не случилось и не случится. Зря вы беспокоитесь, напрасно печалитесь. Им нас не одолеть. Мы не стремимся к кровопролитию. Все бы давно было спокойно, если б они сложили оружие и поняли: винтовкой не остановить истории. Мы не хотим напрасной крови. И если есть хоть малейшая возможность избежать ее, не упускаем...»

Ему хотелось рассказать сейчас Зине и Боре о странном пулеметчике басмачей, который почему-то не желает стрелять в красноармейцев. Но он сам, Якуб Кулнев, еще не все знал.

Выслушав связного, Молла Ниязов задумался над приказом.

— Я чую, что-то не так. Якуб Кулнев верно сообразил. Сейчас пошлю конников.

Берды Гуджалов тоже не мешкал.

— Верно приказывает командир! Я пошлю своих людей с правого фланга, они спасут пулеметчика.

Один из бойцов удивился. Как и связной, он воскликнул:

— Зачем спасать вражеского пулеметчика? Только этого не хватало!

— Сейчас не время для разговоров. Потом объясню. Быстро выполняйте. Пулеметчик должен быть спасен! Во что бы то ни стало. Вы заходите справа, слева действует взвод Молла Ниязова. На счету каждая секунда...

Еще ночью главные силы басмачей оставили колодец и отступили в глубь пустыни. За холмом осталось лишь прикрытие: десять—двенадцать человек и один пулемет.

Когда впереди показались красноармейцы, пулеметчик не спешил открыть огонь.

— Чего медлишь? — обрушились на него басмачи.

Пулеметчик молчал. Тогда один из бандитов ударил его камчой по лицу. А другой выстрелил ему в ногу.

— Не надейся, что сможешь удрать.

Пулеметчик лежал в луже крови. Басмачи сообразизи: если он умрет от кровотечения, им не спастись, не уйти от красноармейцев. Они не умели стрелять из пулемета. Пришлось разорвать штанину и кое-как забинтовать раненую ногу.

— Стреляй, стреляй по неверным. А то...

Басмач выхватил саблю и занес ее над окровавленным пулеметчиком.

Изнемогая от жажды, пулеметчик пересохшими губами попросил воды.

— Отобьем красных, тогда напьешься. А если раньше подохнешь, черт с тобой. Открывай огонь!

Пулеметчик подполз к «максиму» и дал длинную очередь поверх красноармейцев. Он стрелял не переставая, поводя задранным дулом. «Только бы скорее кончились патроны, — думал он, нажимая на гашетки. — Только бы бандиты не догадались, что я бью в небо, а не в людей».

Однако им было не до того. Огонь красноармейцев прижал их к песку, — головы не поднять.

— Воды, — молил пулеметчик в полузабытьи.

— Не сдохнешь!

— Воды, воды...

— Холеру тебе вместо воды! Стреляй знай да помалкивай...

Пулеметчик в изнеможении опустился на землю. Басмач в косматой папахе пополз к нему. Но тут подоспели всадники Моллы Ниязова и Берды Гуджалова. Теперь бандитам было не до пулеметчика. Они метались, пытаясь спастись от ударов, падали на колени, молили о пощаде.

Красноармеец склонился над пулеметчиком, поднес флягу к его губам. Другой перебинтовывал ногу.

Пулеметчик глубоко вздохнул, вытер губы.

— Спасибо, товарищи!

Красноармейцы помогли ему сесть.

— Да это никак Анна Бердыев! Он самый.

— Как тебя угораздило, Анна?

— Говорили, ты пропал без вести...

— Я это, я. А Якуб Кулиев жив-здоров?

— Он-то и послал нас тебе на выручку.

— Тогда помогите мне влезть на коня. Надо быстрее к Кулиеву. У меня для него ценные сведения.

— Мы доставим тебя к командиру. Можешь не сомневаться.

— Я и не сомневаюсь. Однако не упустите этих негодяев. Вы не знаете, на что они способны.

Цепочка всадников двигалась по склону холма. В середине шли пленные басмачи. К последнему коню приторочили трофейный пулемет.

...Тот бой тянулся долго. Колодец переходил из рук в руки. В конце концов наши одолели и погнали врага. Басмачи отступали до следующего колодца. И снова завязался бой. Пулемет Анна Бердыева обрушил свинцовый дождь на басмачей. Анна поводил стволом и видел, как падали недруги. Он не заметил, как наши отступили, а сам он оказался во вражеском полукольце. На него навалились сзади, прижали голову к раскаленному песку. Он вывернулся, одного ударил ногой, другого — кулаком. Однако силы были слишком неравны. Связанного, избитого камчой, его бросили на песок.

Главарь кивнул головой в сторону пулемета.

— Будешь за нас, все получишь — и хлеб, и воду, и девушек. Ах, какие у нас девушки, — хвастливо добавил он. — Выберешь любую...

— Лучше подохнуть, чем воевать за вас.

— Что ж, за этим дело не станет. Желаешь подохнуть, мы тебе поможем.

Он кивнул своим подручным. Те обрушили на пленного град ударов. В воздухе свистели плетки. Бандиты хохотали от радости.

Тогда Бердыев решился на хитрость, пообещав басмачам, что будет воевать на их стороне...

Заканчивая свой печальный рассказ, Бердыев поблагодарил красноармейцев.

— Если б не вы...

— И тебе, брат, спасибо. Ты ведь стрелял поверх наших голов...

Навстречу вышел Якуб Кулиев. Пулеметчик слез с лошади. Но не удержался на ногах. Попытался встать, однако не хватило сил.

— Товарищ командир...

— Сиди спокойно, Анна, все будет в порядке...

Он наклонился к пулеметчику и обнял его.

СЫН

Обычная домашняя картина. Зинаида Васильевна хлопочет на кухне, — надо приготовить обед для мужчин. А мужчины занимаются своими делами. Якуб прикуривает одну папиросу от другой и листает газеты. Боря выстроил все свои игрушки: впереди деревянный конь. Сейчас он скомандует, конь помчится вперед. Это будет грозная атака.

— Ура! — кричит мальчик.

Якуб откладывает газеты и смотрит на сына.

— Почему ты всегда ведешь свое войско прямо на врага? Не кажется ли тебе, что иногда надо наступать сбоку, наносить неожиданные удары?

— Конечно, папа. Я сейчас обману неприятеля. Вот видишь, этот полк пойдет прямо, а этот... этот будет наступать от окна.

Мальчик еще не очень уверенно отличает правую сторону от левой.

«Детские игры, — невесело подумал Якуб, — детские игры суровых лет. Наступит же время, когда дети не будут знать, что такое война, когда появятся увлекательные и прекрасные игры без выстрелов и воинственных кличей. Собственно, ради этого мы живем и воюем».

Ему вспомнился один из боев. Когда это было, в тридцатом? Нет, в тридцать первом году. Как и всегда в пустыне, бой шел за колодец. У кого питьевая вода, тот хозяин положения. Басмачи это отлично знают. Они организовали круговую оборону, надежным кольцом прикрыли колодец. Пойди подступись. Силы у них немалые — как-никак восемьсот клинков.

Когда курсанты военной школы имени Ленина поднялись в атаку, на них обрушился прицельный огонь. Пришлось отступить, залечь. А басмачи, пользуясь численным превосходством, пошли в контратаку.

Начальник полковой школы Якуб Кулиев получил приказ овладеть колодцем, разбить врага.

Он применил излюбленный прием: нападать оттуда, откуда тебя не ждут, как снег на голову.

Якуб со своими всадниками преодолел холмистую гряду в тылу басмачей и налетел на них в ту минуту, когда они готовились отразить удар из низины. Вражеские планы были сорваны. Конники сломали боевой порядок и сопротивление басмачей. В ход пошли сабли.

Еще с одной бандитской шайкой было покончено. Но успех этот дался не без жертв.

После боя комбриг Яков Аркадьевич Мелькумов вызвал молодого начальннка полковой школы. Якуб любил эти беседы.

— Ты молодец, Кулиев. Я доволен тобой. Успех заслужен. Но я знаю, что тебя смущает. Потери. Так ведь? Я бы мог тебя утешнть, сказать, что за победу всегда почти приходится дорого платить. Но я не стану утешать. Думаю, командир должен стараться сберечь жизнь своих бойцов, а не нскать для себя оправданне и утешенне... Тебе надо учиться. Да, мне известно, ты дважды уже заннмался на курсах в Новочеркасске. Но ведь ты не считаешь, что уже превзошел все военные науки? И я не считаю. Каковы твои планы на этот счет?

— Планы-то большне...

— Хорошо, что большие. Обдумай все как следует, не спеша. Посоветуйся с Зинаидой Васильевной. А потом приходн ко мне.

За тот бой у древнего колодца Якуб Кулнев был награжден орденом Красного Знамени. Приятно вспомнить. Но он еще не дал ответа комбригу, хоть миновало больше года...

— Мужчины! — позвала Знна. — Мойте руки — и к столу. Боря-джан, придется пока расстаться с игрушкамн.

Онн сидели за столом, — спокойные, счастливые минуты. Все трое вместе. Не так-то уж часто это случается.

— Спасибо тебе, Зина.

— Ты благодаришь, еще не кончив обеда.

— Я не за обед. Мне очень славно с тобой. Ты самый верный друг. Меня пошлют в Ашхабад, и ты безропотно едешь. Направят в Мары, и ты со мной. Когда я уезжаю один, ты ни о чем не спрашнваешь и только желаешь благополучного возвращения. У тебя — не спорь — нелегкая жнзнь, но я не слышал твоих жалоб...

— А я слышал, — неожнданно вставил слово Боря.— Когда ты уезжаешь, мама плачет.

— Вот как? — удивился Якуб.

— Ты хитрый, папа. Мне говоришь... «вот как», а маме подмигиваешь. Ты, наверно, догадываешься, что она плачет.

— Да от тебя ничего не утаишь, — Зинаида Васильевна наклонилась к мужу. — Как видно, справедлива пословица: «В доме, где есть ребенок, кражу не утаишь». — Она повернулась к Борису. — Ты говоришь правду, мой мальчик, маме не легко, когда уезжает папа. Но мы с тобой знаем: так надо. Верно? Я хочу, чтоб ты всегда был правдив.

— Сейчас у нас тридцать третий год, — размышлял вслух Якуб. — Боре исполнилось семь лет. Растет как на дрожжах. До чего же быстро летит время!..

— К чему это ты? — насторожилась Зинаида Васильевна. — Не в твоих привычках подходить издалека.

— Нет, Зина, я не издалека.

— Ну, говори, папа, я тоже жду.

— Ты тоже? Тогда придется сказать... Ты знаешь, Зина, я назначен начальником штаба полка. Понимаю: это — доверие. И мне лестно. И тебе, я чувствую, приятно. Так ведь? Мне вверены судьбы многих людей. Это обязывает. Мне не хочется жить только лишь памятью о прошлых боях. Надо думать о будущих. А это значит — надо учиться.

— Вот ты к чему клонишь, — задумчиво произнесла Зина.

— Комбриг Мелькумов давно спрашивал меня насчет учебы. Я не спешил с ответом, а он не торопил. Но сейчас пришло время, и я решил: надо получить высшее военное образование.

— Ты хочешь уехать? — в голосе Зины звучали слезы.

— Папа, ты видишь, мама сейчас заплачет.

— Нет, Боря, мама не плачет, она спокойно разговаривает со мной. И ты учись говорить спокойно. Даже если тебе трудно.

Якуб подошел к Зине, обнял ее.

— Я поеду в Академию имени Фрунзе. Ты должна этому радоваться.

— Да, конечно.

— Вначале поеду один сдавать вступительные экзамены. А потом, если поступлю, мы все переберемся в Москву.

Зинаида Васильевна вздохнула с облегчением.

— Значит, пока ты будешь учиться, мы будем москвичами?

— Да, будем, моя Зина.

— Москвичами! Ура! — закричал Боря.

— А когда кончишь академию, мы вернемся сюда?

— Вероятно.

— Мне дороги эти места. Здесь мы с тобой столько пережили.

— Ты — мой добрый друг, Зина.

— Я благодарна тебе.

Мальчику был не совсем понятен этот разговор. К чему столько слов, если они скоро поедут в Москву!

Прошло несколько дней. После беседы с комбригом Якуб Кулиев поехал в Москву сдавать экзамены в академию. Зинаида Васильевна, забрав сына, отправилась в Байрам-Али, повидаться с матерью.

Боря чувствовал себя великолепно: рядом мама, бабушка, а впереди — Москва. Он увлеченно играл с соседскими мальчишками. Возбужденный прибегал домой и с порога кричал:

— Мама! Бабушка!

Он еще не знал, что скажет дальше. Ему было хорошо, и он должен был поделиться радостью.

Мать и бабушка не сводили счастливых глаз с Бори.

— Какой у меня шустрый внучонок, — приговаривала старушка.

Мать гладила его по голове.

— Ты у нас молодчина. Ты — папин богатырь, ба-

бушкина гордость, а моя радость. Когда приедет папа, я скажу ему, что ты — хороший мальчик.

Боря принимал похвалы не только как должное. Они его подхлестывали. Увидев во дворе бабушку с ведрами воды, он кинулся ей навстречу.

— Ты не должна носить воду. Так мы решили с папой. Я буду сам. — Он помолчал, нахмурив лоб, и добавил: — По полведра... Так мы тоже решили.

Бабушка ничего не ответила, лишь коснулась глаз краем платка.

— Ты плачешь, бабуся? — изумился мальчик. Он не видел причин для слез. Ему казалось все правильным, — ведь они верно надумали, он и папа.

— Я не плачу... я волнуюсь...

— Волнуешься? — Боря не знал, как к этому надо относиться, об этом у них с папой не было речи. Теперь он принимал решение на свой риск и страх. — Волноваться — можно, а плакать — нельзя. Ни в коем случае нельзя. Мы с папой...

— Не буду плакать, — безропотно пообещала бабушка.

— То-то же, — назидательно заметил внучонок.

Все шло хорошо, мальчик играл, резвился под ласковыми, но неусыпными взглядами матери и бабушки. Однажды мать заметила: с Борей что-то неладно. За обедом не притронулся к еде. А вечером — температура.

Теперь не верилось в недавние счастливые дни. Неужели этот бледный, час от часу слабевший мальчик, гонял с ребятами по двору, командовал и водил в атаку своих сверстников?

На все вопросы доктор отвечал одним зловеще звучавшим словом: менингит.

Однажды он отвел в сторону Зинаиду Васильевну и бабушку.

— Вынужден сказать правду. Надежды почти не осталось. Мальчик очень плох...

Когда дверь за ним захлопнулась, бабушка посмотрела в глаза дочери.

— Что будем делать?

— Вызывать не стану.

— Почему?..

— Он не поможет и, боюсь, не успеет. Все, что должно выпасть на долю Якуба, я вынесу на своих плечах. Не надо его отрывать. Я сама.

— Но, может быть...

— Нет, мама.

— Тебе виднее.

Они подошли к кровати. На подушке желтело маленькое, похудевшее лицо мальчика с бессильно закрытыми глазами. Зинаида стояла неподвижно и вдруг рухнула. Словно подкошенная.

...Успешно выдержав экзамен, Якуб Кулиев возвращался в Байрам-Али. Он курил, глядя в окно поезда. Рама была опущена, дымок таял, вырываясь наружу.

Все складывалось как нельзя более удачно. Экзамены позади, впереди несколько лет учебы в академии. Зина и Боря будут вместе с ним.

Якуб нетерпеливо ходил по вагону. Он представлял себе встречу — дома и в полку. Ведь телеграммы посланы. Близкие и друзья оповещены.

На одной из станций Якуб выскочил на перрон. В это же время подошел встречный поезд. В дверях вагона он увидел товарища по полку.

— А ну, вылезай, рассказывай...

Товарищ, однако, почему-то не спешил и старался не смотреть Якубу в глаза.

— Что с тобой? — удивился Якуб. — Ты не похож на себя.

— Может быть, — ответил сослуживец, уклоняясь от прямого взгляда Якуба.

— Что-то стряслось?

— Ты ничего не знаешь?

Сердце у Якуба упало, холодная испарина выступила на лбу.

— Боря...

— Ну, договаривай!

— Якуб, мы тебя любим и знаем как мужественного человека... Оставайся и сейчас таким. Твой сын...

— Боря?..

Он не видел ни вокзала, ни длинного состава, вытянувшегося вдоль перрона. Не помнил, как вошел в вагон, повалился на полку.

Люди входили в купе, о чем-то приглушенно переговаривались. Кто-то предложил ему стакан чая.

Он ничего не видел, никого не замечал. Вдали звучали знакомые голоса — Зина, Боря, Гулам...

Потом Якуб почувствовал: чья-то рука опустилась ему на плечо.

— Что с вами, товарищ командир? — спросил спутник, с которым они вместе ехали от самой Москвы.

— Ничего, — поднялся Якуб, — ровным счетом ничего. Закружилась голова...

...Зинаида Васильевна ждала на станции Байрам-Али под навесом. Ее окружали друзья. До нее доносились слова утешения. Она кивала и говорила «спасибо», не отводя глаз от какой-то точки. Подошел поезд, паровоз спустил пары. Захлопали вагонные двери. Якуб приблизился к Зине. Он ни о чем не спрашивал. Они стояли друг против друга. Двое и — горе, беспощадными нитями связавшее их.

УЧЕБА

В выходной день Гулам поднимался как и в рабочий. Только одевался медленнее. Он разрешал себе осматриваться по сторонам, глядеть в окно. На улице шумел дождь. Мутные потоки текли по тротуару,

«А у нас в Туркмении сейчас солнце. Ребятишки бултыхаются в Мургабе. Мне же надо надевать теплый костюм, поверх него плащ».

Он шел по непривычно людным улицам. Москва обступала со всех сторон. Проносившиеся мимо машины обдавали брызгами.

«Москва — очень большой город, — размышлял Гулам. — И над этим городом тяжелые тучи, льется дождь. Но людям он не страшен. Все в плащах. Столько плащей кругом!»

А дождь набирал силу. Он шумел в водосточных трубах, бурлил на мостовой. Весь город был затянут покрывалом из бесконечных струй.

Как ни интересна, как ни неожиданна для Гулама оказалась Москва, он возвращался мыслью к родным местам. «Вот если б такой ливень нам в Иолотань и Мары, Ашхабад и Ербент, на наши поля и равнины! Мак, наверно, вымахал бы в рост человека, а трава — коням по грудь. Вот бы скот наелся вдоволь...»

Он и в городе оставался сыном степей. На все смотрел глазами человека, чья жизнь связана с родной Туркменией.

Им посчастливилось, братьям Кулиевым, они одновремено попали на учебу в Москву. Якуб — в военную академию, Гулам — в партийную школу.

Сейчас, сквозь этот ливень, Гулам направлялся к брату. Выходные дни — так уж повелось — они проводили вместе.

Он долго вытирал на площадке ноги и стряхивал с плаща воду. Зинаида Васильевна, услышав шум, открыла дверь.

— Входите. Э, да вы совсем вымокли. Разувайтесь, вешайте плащ... Только тише, — занимается. Я ложусь спать, он сидит за книгами и картами, просыпаюсь — он в той же позе. Я рада за него, вижу, с каким увлече-

нием трудится. Однако надо же знать меру. Может быть, вы ему скажете...

— Я, конечно, скажу. Но не уверен, что он прислушается к моим словам. Я и сам немало занимаюсь. Однако так, как он... Да из моих товарищей никто не проявляет такой жадности к книгам.

Стараясь не шуметь, Зинаида Васильевна отвела Гулама на кухню, усадила за стол, принесла чайник, хлеб, конфеты.

— Кто пришел, Зиночка? — раздался голос из комнаты. — С кем это ты там шушукаешься?

— Гулам. Он, должна тебе заметить, по выходным откладывает книги в сторону. Но так как ты работаешь, я вынуждена принимать дорогого гостя на кухне.

Якуб, потягиваясь, показался в дверях. Из распахнутой двери валил табачный дым.

— Как дела, товарищ профессор? — Якуб весело пожал руку брата.

— Из меня вряд ли получится профессор. А вот вы, товарищ майор, не метите ли в полковники?

— Почему же не мечу! Конечно, мечу. Так что ты, братец, постепенно привыкай к этому званию. Чтобы не было неожиданности.

— Да уж как-нибудь привыкну, только получи.

— За мной дело не станет. Постараюсь... Вот перед Зиной я виноват. Вроде как променял ее на книги. Она достойна большего внимания.

— Мне тоже кажется, — поддакнул Гулам.

— Хорошо, — хлопнул в ладоши Якуб, — да будет по-вашему. Сегодня — отдыхаем. Никаких книг, конспектов, карт...

— Наконец-то, — обрадовалась Зина. — Наконец дождались праздника. Меня не беспокоит недостаток твоего внимания. Я за тебя тревожусь. Можно ли столько корпеть над бумагами и книгами!

— Принимаю все упреки. Итак, сегодня я человек,

которого посетил любимый младший брат. А ты, Зина, — человек, к которому пришел любимый деверь. Что делают в таких случаях?

— Если не ошибаюсь, открывают вино и готовят праздничный обед!

— Ты отгадала мое желание.

Якуб подхватил Зину и закружил в танце.

— Из-за меня обед, — попытался робко возразить Гулам.

— Из-за вас, из-за вас. Только вам, мужчинам, здесь, на кухне, делать нечего. Ступайте в комнату и не мешайте мне. Ясно?

— О, это уже слова командирши, — подхватил Якуб, направляясь в комиату.

— Итак, Гулам, впереди у нас обед. А после обеда наступит вечер. Где мы его проведем? К нашим услугам театры, кино. Куда ты хочешь, Зиrа? — крикнул Якуб.

...Они сидели в ярко освещенном зрительном зале Центрального Театра Красной Армии. Зинаида Васильевна посредине, Якуб слева, Гулам справа. Мимо их проходили командиры, красноармейцы с нарядно одетыми женщинами. Сверкали петлицы, начищенные пуговицы и сапоги. В зале царила атмосфера праздника. И потому что многие были знакомы, обменивались на ходу приветствиями, этот праздник казался всеобщим.

Зинаида Васильевна шепнула на ухо Гуламу:

— Ваш брат — удивительный человек.

— Не сомневаюсь.

— Он действительно очень много занимается. Но никогда не забывает обо мне. Мы уже не первый раз в этом зале, часто ходим в кино, в другие театры. Как он все это сочетает — ума не приложу. Хоть знаю его столько лет. Он — военный, военный до мозга костей. Но он вместе с тем человек мягкий, деликатный, культурный в самом истинном смысле слова. Искусство для него не только праздник, но и необходимость.

Гулам, соглашаясь, кивал головой. Тем временем свет медленно гас. Вспыхнули, осветив занавес, огни рампы.

Зинаида Васильевна и Гулам, прервав разговор, покосились на Якуба. Подавшись вперед, ничего вокруг не замечая, он смотрел на сцену.

После спектакля в гардеробе они встретили комбрига Якова Аркадьевича Мелькумова. Он тоже находился в Москве и тоже пришел в театр.

— Привыкаете к столице? — спросил комбриг Зинаиду Васильевну.

— Если Якуб привыкает, то и я привыкну, Яков Аркадьевич.

Мелькумов опустил руки на плечи братьев.

— Я рад, что оба вы учитесь. Это — самое верное решение. Не зря в Туркмении говорят: «Да воздастся ученому!»

Комбриг повернулся к Якубу.

— Допускаю, тебе не так-то легко. Но когда мы говорили — не забыл? — об академии, я не сомневался: кто-кто, а уж Якуб Кулиев сдюжит.

— Он успешно учится, в числе первых, — вступила в разговор Зинаида Васильевна. В ее голосе чувствовалась гордость. — Конечно, Яков Аркадьевич, это ему дается нелегко. Но вы знаете Якуба. Его не страшат трудности.

— Я знаю не только это. Мне известно, как вы ему помогаете во всем. А ведь немало значит постоянная помощь жены. Но помимо всего меня радует, что вы находите время и для театра. Наша армейская служба нечасто отпускает нас в столицу, и грех не пользоваться ее великими благами — театрами, музеями, выставками. Такие впечатления — на всю жизнь. Не забывайте об этом...

— Есть, товарищ комбриг, буду помнить, — полушутя ответил Якуб. — Только боюсь, и вы, и жена слишком лестного обо мне мнения. Мне неудобно...

— Можешь не бояться и не смущаться, как красная девица. Тебе известно, я понапрасну хвалить не стану. Да и не всякая, нет, не всякая жена щедра на похвалы мужу. Раз уж заслужил, держись... Ну, нам, кажется, с Гуламом в одну сторону, а вам — в другую. Спокойной ночи. Приходите в гости.

— И вы не забывайте нас, Яков Аркадьевич.

Дома Якуб осушил пиалу чая, подошел к столу, достал чистый лист, раскрыл книгу...

Наутро, позавтракав, он направился к двери.

— До свидания, Зина!

— Минуточку. Я тебя провожу.

Так было заведено...

В вестибюле академии Кулиев встретил сокурсника Якова Степановича Воробьева[1].

— Я ждал тебя, Якуб.

— Какие новости, Яша?

— Добрые. Наша группа, группа, в которой ты староста, вышла по всем показателям на первое место по курсу. Мне хотелось, друг мой, первым тебя поздравить.

— Ну и ты прими мои поздравления. После занятий, Яша, соберем группу. Поговорим о делах. Первенство — оно ведь тоже обязывает.

— Я хотел тебя обрадовать, — сказал Воробьев, — а ты сразу о делах.

— Ты меня действительно обрадовал. Но как раз поэтому я и думаю о делах. Тем более что наш руководитель группы, Павел Алексеевич Курочкин[2], именно так поставит вопрос: надо удержать первое место, доказать, что это — не случайность.

— Удержим, Якуб, будь уверен.

---

[1] Впоследствии генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.

[2] Впоследствии генерал армии, начальник Академии им. М. В. Фрунзе.

— Я надеюсь. И все-таки надо бы послушать, что думают товарищи.

— Пожалуй, ты прав, пошли на занятия.

В академии нередко звучало имя майора Кулиева. Его называли всякий раз, когда заходила речь о лучших слушателях на занятиях английским языком или русским, на уроках по тактике, на политзанятиях, в спортивных походах.

Группа, в которой он был старостой, прочно удерживала первенство не один год. В этом тоже сказывалась роль Якуба Кулиева, сила личного примера. Недаром же в его зачетной книжке колонкой стояли оценки «отлично», а руководители академии, называя его имя, добавляли: «Молодец!»

День шел за днем, месяц за месяцем. Битва за знания, за высшее военное образование, начатая летом тридцать третьего года, успешно завершилась осенью тридцать шестого. Якуб, не веря глазам своим, смотрел на диплом с отличием. Значит, он сдюжил. Не напрасны занятия, ночи, проведенные над конспектами, учебниками, наставлениями, книгами. Теперь он сумеет все это богатство применить на практике.

По знакомой дороге Якуб и Зина Кулиевы возвращались обратно. Их путь лежал в Среднюю Азию.

Якуба ждала серьезная работа. Его назначили начальником оперативного отдела штаба дивизии, потом — командиром полка, потом — начальником штаба дивизии.

Миновало два года. В октябре тридцать восьмого полковника Кулиева снова направили в Москву. На этот раз на курсы усовершенствования высшего комсостава при Академии Генерального штаба.

Снова день и ночь над книгами. Комната, затянутая табачным дымом, пепельница, набитая окурками.

Он пришел на учебу не после командования взводом, даже полком. Он занимал высокий начальственный пост.

А его ждали должности еще более ответственные. К ним его готовили профессора, и сам он готовнл себя. Нет, полковник Кулнев не счнтал, будто старшнй командир может быть специалнстом узкого профиля. Он — кавалерист. Но его интересуют все рода войск — механизированные, бронетанковые, инженерные, он корпнт над артиллерийскнмн таблнцамн стрельбы.

Однокашннк Внктор Филиппович Дикушин недоуменно останавлнвает его однажды после занятий.

— Я, вероятно, чего-то не понимаю, Якуб. Ты ведь кавалерийский командир?

— Безусловно.

— Тогда скажн, бога ради, зачем ты столько внимания уделяешь другнм родам войск.

— Думаю, это естественно. Нам нужно очень многое знать. Может быть, больше, чем мы сейчас предполагаем.

— Но ведь существует же командирская специализация. Немыслимо быть универсалом. Особенно в наш век высокой техники.

— То, Виктор, о чем ты заговорил, чрезвычайно серьезно. Попробую объяснить. Да, я — кавалерист до мозга костей. Будь моя воля, я не променял бы кавалерию ни на какой другой род войск. Но дело обстоит иначе. Ты прав, техника растет, совершенствуется. Возрастает огневая мощь современных армий. Мне кажется, в будущей войне решающую роль сыграют моторизованные соединения. По крайней мере, им предстоит заменить прославленную конницу. Это — объективный процесс. Тут никуда не деться. Мы должны смотреть в завтрашний день. А он связан с этой вот штукой.

Якуб показал на макет танка.

— Я об этом должен подумать, — сказал Дикушин. — Мы еще поговорим с тобой...

Нередко Кулнев задавал вопросы одному из самых любимых преподавателей — профессору Дмитрию Михай-

ловичу Карбышеву[1]. Как-то на консультации Карбышев спросил у Кулиева:

— Товарищ полковник, а вы не сапер в прошлом?

— Нет, товарищ профессор, я конник с первых армейских шагов и поныне.

— А я полагал, что у вас саперное прошлое. Ну да не беда, полковник. В наш век лишних знаний не бывает. Все понадобятся. И вам, надеюсь, пригодится инженерная подготовка, как бы ни сложилась ваша армейская судьба...

Вот и позади курсы усовершенствования. А впереди — родной Среднеазиатский военный округ.

Зина встретила на вокзале.

— Высоко ты вознесся, Якуб. Однако, насколько мне известно, никто не упрекнул тебя в зазнайстве, нескромности.

— И не упрекнет.

Якуб привлек к себе жену, обнял.

— Я не дал повода для подобных упреков. Я всегда помню, кто я такой. Оборванный и босой, вечно голодный сын бедняка из бедняков Аллакули. Ты ведь знаешь, у нас в Туркмении говорят: «Аязхан[2], поглядывай на свои чарыки».

Зинаида Васильевна внимательно посмотрела ему в черные глаза.

— Да, мой Якуб.

ТРЕВОГА

Один из командиров сказал:

— После курсов усовершенствования при Академии

[1] Впоследствии генерал-лейтенант инженерных войск, Герой Советского Союза, зверски замученный гитлеровцами.

[2] Аязхан — бедняк, ставший ханом. Чтобы не забыть о своем «плебейском» происхождении, он повесил у порога своего дома чарыки, выделанные из сыромятной кожи.

Генштаба он был начальником управления боевой подготовки в нашем военном округе...

Другой заявил:

— Его перевели к нам с высокой должности — заместителя начальника штаба округа.

Третий:

— Он долго добивался, чтобы его освободили от штабной работы. Он говорил: «Мне хочется быть ближе к красноармейцам. Хоть батальон давайте, хоть роту, лишь бы быть рядом с бойцами». Все это сказал командующему округом. И в Наркомат обороны писал...

Старший политрук, молчавший до сих пор, оглядел беседующих:

— Все вы правильно говорите. Но знаете его по слухам да рассказам. А я начинал у него военную службу. Если он не в отделении, взводе, роте, если не в окружении красноармейцев — жизнь ему не в жизнь.

— Значит, нам по-настоящему повезло! — воскликнул кто-то.

Каждый что-нибудь сказал. И каждый по-своему расхваливал полковника Якуба Кулиева.

Мир дышал весной. Все вокруг расцветало. Деревья, покрывшиеся зелеными листочками, покачивали ветвями. Природа радовала и пьянила. Была весна тысяча девятьсот сорок первого года. Казалось, она ничем не отличалась от других. Как и прежние, она радовала душу и ласкала взор. Но то, что фашисты залили кровью Европу, бряцали оружием возле самых наших границ, — ввергало каждого в тревогу.

Именно в эти дни командиры двадцать первой горнокавалерийской дивизии вели разговоры о назначении к ним Якуба Кулиева.

Послышался шум подъехавшей машины, и командиры ринулись к двери.

Из машины вышел моложавый полковник-кавалерист с живыми черными глазами. Он был взволнован. Да и как не волноваться! Сегодня он принимал под свое начало дивизию, которая покрыла себя славой в боях за Советский Туркестан.

Приняв рапорт, полковник стал здороваться с командирами. Он знал большинство из них. Шутил и смеялся со старыми знакомыми...

Приблизился к Якубу Кулиеву и старший политрук, который говорил: «А я начинал у него военную службу...»

— Добро пожаловать, товарищ полковник, — сказал он.

Комдив пристально вгляделся в его лицо:

— Саша, дружище, и ты здесь!

Они обнялись.

Якуб Кулиев огляделся и остановил свой взор на красноармейцах, которые на плацу рубили лозу. Затем обратился к окружавшим его командирам:

— Я считаю большим счастьем для себя служить вместе с боевыми друзьями. Только запомните одну истину, товарищи. Каким бы образованием и опытом ни располагал человек, какие бы заслуги и авторитет у него ни были, в одиночку он ничего не сделает, никаких крепостей не возьмет. А если все мы будем вместе, то нет такого дела, с которым бы не справились, крепости, которую бы не взяли. И еще прошу вас: для лучшей боевой и политической подготовки нам придется и спорить друг с другом, и быть требовательными друг к другу. Никто не должен обижаться на это. Не подумайте, будто Якуб Кулиев стал болтуном. Выслушайте меня внимательно. Я хочу сказать о необходимости изучать то, чего требует от нас современная военная наука. — Он показал рукой в сторону красноармейцев, которые на всем скаку рубили лозу. — Посмотрите, они только и знают, что рубить лозу. Уметь крошить врага надо, нельзя позволять сабле ржаветь. Только все хорошо в меру. Следует задуматься, глу-

боко задуматься, товарищи! Идет война, большая война. Ее методы отличаются от методов первой мировой и гражданской войн. Задачи кавалерии, ее тактика, маневр — в современной обстановке тоже изменились коренным образом. Постараемся представить себе это. Теперь нельзя играть одним клинком. Надо учиться пользоваться пушками и пулеметами, минометами и гранатами. Надо знать, как бороться с танками, как беречься от ударов с воздуха. Надо уметь проникать через передний край неприятеля, действовать у него в тылу, наносить ему внезапные удары. Надо уметь пользоваться шанцевым инструментом. Иначе кто отроет окопы для наших бойцов-кавалеристов?!

В глубоком молчании слушали командиры Якуба Кулиева.

Новый комдив со свойственной ему энергией приступил к работе.

Никто не знал, когда он ложится спать и когда встает. То он объявляется на полевых занятиях в отдаленном гарнизоне; то принимает людей в своем кабинете; то выступает на собраниях городского, районного или областного партактива...

Он уделял огромное внимание укреплению связей дивизии с местным населением, и это нравилось и воинам, и трудящимся области. Армейские пропагандисты были желанными гостями предприятий, колхозов, совхозов, учебных заведений, а агитаторы областного, городского и районного комитетов партии охотно приезжали к воинам. Подразделения дивизии брали шефство над коллективами трудящихся, а те в свою очередь шефствовали над воинскими частями. Между армией и местным населением установились братские отношения.

...Как-то, объезжая части, комдив в беседе с командирами и политработниками услышал:

— Бывает, мы с утра и до глубокой ночи в подразделениях, а вернувшись домой, вместо приветливых слов

слышим обидные намеки и ворчание... Конечно, некрасиво жаловаться на жену, только...

Полковник внимательно выслушал их.

— Постараемся что-нибудь придумать.

Поразмыслив, он встретился с комиссаром дивизии Ульяновым.

— Как вы смотрите, если мы соберем жен комсостава дивизии, начиная с наших и до жен командиров взводов, и поговорим с ними?

Комиссару тоже приходилось слышать сетования подчиненных.

— Обязательно. Я и сам подумывал над этим. Вы опередили меня, Якуб Кулиевич.

— Дело не в том, кто кого опередил, комиссар. Но срочное дело нужно срочно и сделать.

— Я сейчас же дам указание начать подготовку собрания.

— Действуйте...

Собрание было созвано в гарнизонном Доме Красной Армии. Открыв его, комиссар Ульянов предоставил слово командиру дивизии. Якуб Кулиев поднялся на трибуну.

— Вы не меньше меня знаете о том, какую отеческую заботу проявляют партия и правительство об армии, о ее командном составе. Не меньше меня знаете вы и о том, как трудна наша служба. Поэтому излишне вести долгие разговоры. Мне хочется только напомнить о важной роли, какую в нашей жизни играете вы, наши жены. Мы называем вас боевыми подругами. Мы называем вас своими помощницами. Мои дорогие сестры, мы зовем вас так не ради красного словца, — улыбнулся комдив. — В семье должны царить любовь и верность. Должно быть взаимное уважение. В семье должна быть вера друг в друга. Семья должна поддерживать хорошее настроение своего главы. Мы и так достаточно «прорабатываем» наших командиров и политработников. Им хватает головомойки,

которую они иногда получают по службе. Бывает, мы говорим им горькие слова и на партнйных, и комсомольских собраниях, и с глазу на глаз. — Якуб Кулиев сделал паузу. — Мне говорят: «Молодо выглядишь». Может быть. Пусть бог не гневается на меня, но если я кажусь молодым, то это не его заслуга, а моей жены, моей помощницы Зннанды Васильевны. Когда бы я нн пришел домой, она всегда встречает меня словами: «С благополучным возвращением, Якуб!» Она и не думает ворчать: «Где пропадал?»

В зале послышался смех. Вытягивая шеи и скрипя стульями, женщнны смотрели на зардевшуюся от смущення жену комдива.

— Неужели у тебя нет других дел, что ты перебираешь мои косточки, Якуб?! — воскликнула Зинаида Васильевна. — Разве мало других женщин, заслуживающих похвалы? Чем жена комиссара хуже меня? Илн жена начальника штаба? А жена начальннка политотдела, которая стоит всех нас? Хвалн нх, приводн их в пример!

Комдив рассмеялся.

— Я ннкого не знаю лучше, чем тебя, Зина, поэтому и привожу тебя в прнмер. Раз ты хорошая, я должен сказать об этом. Будь у тебя какие-либо недостатки, не скрывал бы и их... Дорогие сестры, мы знаем, что н у вас забот сверх головы. Вы работаете. Воспитываете сыновей и дочерей. Стнраете. Моете полы. Готовите обед... Словом, сколько ни перечисляй — все мало. И еще вы ругаете мужей, которые задерживаются на службе...

Зал рассмеялся. Смеялся и комиссар, и начальник штаба, и начальник политотдела. Когда смех утих, Якуб Кулнев продолжал:

— А ведь куда как хорошо, если вы проявите душевную чуткость и не станете забывать одной вещн. Бодрое настроение нужно каждому, и особенно командиру и политработнику. Ведь если ваши мужья будут в плохом настроении, то требовать от них серьезной работы все

равно что пытаться зажать в кулаке воду. Не забывайте, в какое тревожное время мы живем... Не забывайте, что всех нас, всю страну, может ждать впереди... Когда у нашего командира хорошее настроение, то ноги его словно не касаются земли. Тогда каждое его слово доходит до красноармейцев, любое дело для него не труднее, чем вытащить волосок из масла. Поверьте мне. И помните, что, если кто-нибудь из командиров или политработников свернет с дороги, ведущей к дому, мы первые дадим ему взбучку. Мы вовсе не хотим вмешиваться в отношения между мужем и женой. Однако знаю я и другое: если у супругов все в порядке, если их объединяют любовь, уважение и вера друг в друга, то никто и ничто не может их поссорить.

Женщины в зале с волнением слушали командира дивизии. Когда Якуб Кулиев сел, одна за другой они начали подниматься на трибуну.

— Такое собрание надо было провести давно... — сказала первая. — От этого собрания будет большая польза, товарищ полковник...

— Вы по-братски, с открытой душой поговорили с нами. Большое вам спасибо, Якуб Кулиевич, — говорила другая.

— Иногда мы глупо ведем себя, ревнуем без причины, страдаем и вынуждаем страдать других. Этого больше не будет, — обещала третья.

...Глубокой ночью Якуб Кулиев приехал на машине домой.

Зинаида Васильевна радостно встретила его:

— С благополучным возвращением, Якуб?

— С благополучным, Зина.

За поздним ужином Зинаида Васильевна, несколько раз взглянув на мужа, наконец заговорила:

— Ты прости меня, Якуб. Я хочу понять одну вещь...

— Говори, Зина.

— Газеты печатают сообщение ТАСС. Там отвергается возможность войны с Германией. Как ты на это смотришь?

Якуб Кулиев отодвинул стакан с чаем. Положил руку на плечо жены.

— Это сообщение читал и я. Однако нельзя снимать с повестки дня, что фашисты могут напасть на Советский Союз. Мы, военные люди, всегда должны находиться в состоянии готовности. Порох нужно держать сухим. Как говорил Суворов — солдат и в мирное время должен чувствовать себя как на войне. Первейшая задача нашей армии состоит в том, чтобы всегда быть готовой к защите Родины.

— Не читай мне политграмоты, Якуб... Скажи правду — будет война или нет?

Якуб погладил ее по голове.

— Надо надеяться на лучшее, Зина, но быть готовым к худшему. И если нам навяжут войну, будем нещадно бить врага. Все, кто приходили к нам с войной, не уходили безнаказанными, не уйдут и впредь. Ложись спать, Зина, и спи спокойно.

Зинаида Васильевна глубоко вздохнула.

— Очень тревожно сейчас в мире... Я беспокоюсь за тебя, Якуб...

Ответа не последовало. Полковник, утомившийся за день, уже спал богатырским сном. Зинаида Васильевна присела на краешек кровати. Прислушалась к ровному и спокойному дыханию мужа...

ВОЙНА

Война!

В воскресенье двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года это страшное слово в мгновение ока облетело из конца в конец всю страну. Оно горело

пламенем в сердцах советских людей. Ветер и телеграфные провода, зеленые всходы и комбайны, птицы и деревья — все живое и неживое, небо и земля, казалось, повторяли это страшное слово.

Дивизия, которой командовал полковник Якуб Кулиев, размещалась в Фергане. Утром части проводили конноспортивные соревнования на ипподроме за городом. Комдив наблюдал за ходом состязаний, как вдруг увидел скачущего из города во весь опор всадника. Словно в предчувствии беды, у него похолодело внутри. Он незаметно отделился от окружающих. Посыльный, осадив взмокшего коня, спрыгнул на землю.

— Товарищ командир дивизии!..

В лице у него не было ни кровинки. Он стоял задыхаясь, не в силах произнести ни слова.

— Что случилось? — встревоженно спросил полковник.

— Война! Войска фашистской Германии вероломно...

Якуб Кулиев больше не слушал. Он словно застыл на месте. И вдруг, сжав кулаки, процедил сквозь зубы:

— Если война, будем воевать!

Вспомнилась строчка из любимого поэта: «Туркмена врасплох не застигнет война...»

Вернувшись на ипподром, комдив приказал начальнику штаба полковнику Юрьеву собрать весь личный состав на митинг...

...Радиоприемник в доме Якуба Кулиева, казалось, готов был разорваться от слова «война». Не веря своим ушам, Зинаида Васильевна выбежала на улицу. Но и там она слышала только это слово... Растерявшись пуще прежнего, она вернулась в дом и отупело уставилась на черный репродуктор.

— Что же теперь будет?!

...Коновод Силап Довлетов по первому взгляду комдива подвел ему коня. Якуб Кулиев легко вскочил в седло и с места пустился в карьер. Следом за ним что было сил припустил своего жеребца и Силап.

Бросив поводья коноводу, комдив торопливо прошел в свой кабинет и поднял телефонную трубку.

— Соедините меня с командиром корпуса... Здравствуйте, товарищ генерал... Да... Слышал... Приказал собрать всех на митинг... Военный человек всегда готов... Понятно, Тимофей Тимофеевич... Жду распоряжений... До свидания.

Положив телефонную трубку, Якуб Кулиев закурил и поспешно покинул кабинет. Он не задержался, как обычно, возле яблони, чтобы полюбоваться ее плодами, вскочил в седло, и конь, словно понимая нетерпение всадника, в мгновение ока примчал его к дому.

Зинаида Васильевна не слышала ни цоконья копыт, ни того, как вошел в дом муж. Обхватив голову руками, она пыталась слушать радио и связать концы рвущихся мыслей. Лишь ощутив на плече руку Якуба, она встрепенулась.

— Я очень спешу, Зинуша, — сказал он. — Сейчас начнется митинг. Что будет после, сам толком не знаю. Возьми себя в руки, Зина. Ты ведь не из нытиков.

Зинаида Васильевна проводила мужа до порога. Обернувшись, Якуб ободряюще улыбнулся ей и огрел коня камчой.

Все части дивизии, за исключением полка, стоявшего в Намангане, были в сборе. Речь держал полковник Якуб Кулиев.

— Германские фашисты вероломно напали на нас. Я обращаюсь к вам как воин к воинам. Какая задача сто-

ит сейчас перед нами, мои боевые друзья? Задача одна: когда нас пошлют в бой, схватиться с заклятым врагом и разбить его! Мы с нетерпением ожидаем приказа о выступлении. Великий мудрец моего туркменского народа, поэт Махтумкули-Фраги, в одном своем стихотворении сказал так:

Фраги говорят: на пиру удальцов веселит
Отважный боец: он как друг меж друзьями сидит,
А в битве горячей во имя народа джигит
Все поле сражения кровью врага обагрит!

Якуб Кулиев окинул взглядом ряды воинов.

— Я твердо верю, что вы— джигиты из джигитов, способные одолеть врага в битвах за нашу любимую Родину...

«Эмка» комдива стояла неподалеку. Шофер, красноармеец Макар Шаповалов, курил, прислонившись к капоту. Он знал, что теперь ему придется дни и ночи крутить баранку, и был готов к этому. Он и прежде дивился выносливости комдива, тому, что тот поспевал всюду, всем интересовался, во все вмешивался сам. Но сейчас Шаповалов понимал — дел у комадира дивизии станет во сто крат больше. Он гордился, что ему выпала честь возить полковника, и был готов ради него на все... Митинг кончился, и Макар следил взором за комдивом, который возбужденно говорил что-то собравшимся вокруг него командирам.

Якуб Кулиев зашагал к машине. За ним начальник особого отдела старший политрук Александр Степанович Кибальников и адъютант. Макар Шаповалов уселся за руль и завел мотор. Устроившись в машине, полковник приказал:

— В сто двенадцатый, Макар!

«Эмка» рванулась с места. Каждый сидел углубившись в свои мысли, никто не произнес ни слова.

Комдив достал из кармана коробку «Казбека». По-

смотрев на изображенного на ней всадника, он задумался и забыл взять папиросу.

Машина мчалась по проселку. Мимо мелькали и исчезали позади в клубах пыли кишлаки, зеленые поля хлопка, сады и бахчи.

— Не копай другому яму, сам в нее попадешь, — прервал вдруг молчание Якуб Кулиев. — Гитлер копает себе могилу... Как ты думаешь, Саша?

— Туда ему и дорога, — хмуро усмехнулся в ответ старший политрук.

Наманганский полк, собранный на митинг, ждал приезда комдива. Полковник вылез из машины, принял рапорт командира полка и тут же поднялся на трибуну...

Вечером Якуб Кулиев созвал совещание командного и политического состава части.

— Надо воспитывать в красноармейцах чувство глубокой ненависти к врагу и веру в нашу победу, — говорил он. — Надо обучать красноармейцев всему необходимому для ведения современного боя. Если мы хорошо решим эту задачу, можно считать, что мы в основном выполнили долг перед народом.

Якуб Кулиев не знал ни минуты отдыха, ведь приказ об отправке на фронт мог прийти в любой момент. Откуда только силы брались? Одна нога в Фергане, другая — в Намангане. Но, даже бывая в Фергане, он появлялся дома лишь с первыми петухами. Ночи просиживал в штабе. Дни и вечера проводил в полках. Объявлял боевые тревоги. Участвовал в тактических занятиях. Выступал на партийных и комсомольских собраниях, на митингах. Собирал красноармейцев: с одними беседовал по-русски, с другими — по-туркменски, с третьими — по-азербайджански, по-узбекски, по-украински...

Вести, приходившие с фронта, были одна тревожнее другой.

— Сколько можно слушать все это и быть вдалеке от фронта, товарищ полковник?! — обращались к комдиву.

Он радовался, когда ему задавали такие вопросы. Но отвечал одно:

— Терпение. Дойдет очередь и до нас.

Наконец очередь дошла. В ночь с тринадцатого на четырнадцатое июля сорок первого года пришел приказ.

Дивизия была поднята по тревоге. На железнодорожной станции неподалеку от Ферганы грузились в эшелоны семнадцатый и шестьдесят седьмой кавалерийские полки, а также артиллерийский и бронетанковый дивизионы, а в Намангане сто двенадцатый кавалерийский полк.

Якуб Кулиев, в детстве бывший онбашни в играх со сверстниками, отправлялся теперь во главе своего войска на большую войну...

Полковник наблюдал за погрузкой людей, коней и техники в эшелоны.

Поодаль, группами и в одиночку, украдкой смахивая слезы, стояли жены.

Полковник Юрьев обратился к комдиву:

— Может быть, ободрите их, Якуб Кулиевич, скажете несколько слов?

Якуб Кулиев направился к женщинам. Грустные, многие с ребятишками на руках, они окружили его. Полковник заметил вдруг среди них свою жену.

— И ты здесь, Зина? — удивленно спросил он.

— А где же мне быть, как не с ними, Якуб? — ответила Зинаида Васильевна.

У Якуба Кулиева перехватило в горле. Поначалу он не мог произнести ни слова. Наконец, взяв себя в руки, заговорил:

— Зина, мои дорогие сестры, наберитесь терпения. Вы на всю жизнь связали свои судьбы с нами, с военными людьми. Большое спасибо вам за это. Верю, вы су-

меете справиться и с разлукой, и со всеми трудностями, которые вам предстоят. Я не обещаю вам скорой победы. Вы сами знаете, как обстоят дела на фронте. Но обещаю, что мы победим. Обязательно победим. У меня к вам две просьбы. Первая: всегда высоко держите голову. И вторая: будьте примером для остальных женщин города...

Зинаида Васильевна обняла мужа:

— Чтобы довелось нам увидеться здоровыми, Якуб. Возвращайся с победой, мой дорогой.

— Да, будет так, моя Зина, — сказал Якуб, сжимая ее в объятиях.

Играл военный оркестр. Провожать дивизию вышло население Ферганы. Приехал и командир корпуса Тимофей Тимофеевич Шапкин.

Комкор и комдив пожали друг другу руки.

— До встречи!

Громыхая на путях, отправились в дальний путь эшелоны. Дивизия следовала в район Брянска.

Уже остались позади Ташкент, Саратов, Тамбов... Поезда, шедшие навстречу, все явственнее напоминали о войне. Они везли раненых, эвакуирующихся женщин и детей, оборудование фабрик и заводов...

За Орлом над эшелонами показались вражеские самолеты-разведчики. Начались бомбежки. Появились первые потери — раненые и убитые. Но и дивизия открыла свой счет. Зенитные орудия и пулеметы двадцать первой кавалерийской обстреливали бомбардировщиков неприятеля. Оставляя за собой длинную полосу густого дыма, один из них врезался в землю и с грохотом взорвался на собственных бомбах.

Красноармейцы ликовали:

— Получай по заслугам, разбойник!

Эшелоны добрались до Брянщины между двадцать третьим и двадцать шестым июля. Дальше двигаться по

железной дороге было нельзя. Дивизия выгрузилась и растворилась в лесах, окружающих город Унечу.

Фронт был близко. Полки Якуба Кулиева были готовы к боям.

УДАР

Полковник Якуб Кулиев в сопровождении командиров штаба и красноармейцев комендантского взвода направился на командный пункт сто тридцать второй стрелковой дивизии. Согласно приказу командующего тринадцатой армией — в ее состав вошла кавдивизия Кулиева — сто тридцать вторая стрелковая дивизия должна была прорвать передний край неприятеля и вывести конников в тыл.

Якуб Кулиев выглядел усталым. Веки набрякли. Голова гудела, словно глиняный кувшин. На скулах перекатывались желваки. Он и сам не знал, сколько дней и ночей не спал и не видел горячей пищи.

Опустив поводья, он сидел в седле, погрузившись в глубокие раздумья, не замечая, как настораживались сопровождавшие его люди при первых звуках артиллерийской канонады, как тревожно прядали ушами кони. Мысли его перескакивали с одного на другое. То ему казалось, что среди деревьев мелькает лицо Зинаиды Васильевны. То перед глазами возникали мать, Бадысаба и его младший брат Гулам... Нес свои воды Мургаб, зеленели родные поля, и вдруг все это вытесняли переходы, бои... Сколько уже прошло времени с того дня, как дивизия выгрузилась и ушла в леса Брянщины?! Сколько дней и ночей проведено в походах, изматывающих силы коней и людей! Сколько бомбежек пришлось пережить! В скольких боях принять участие... Дивизию перебрасывали с одного участка фронта на другой. Иногда Якуб Кулиев даже не понимал причины этого. Правда, линия фронта в иные дни изменялась по нескольку раз. Вчера

гнтлеровцы теснили нас на одном направлении, а сегодня на другом участке брали наши войска в тиски окружения. В иных местах нельзя было даже разобрать, где проходит линия фронта...

Якуб Кулиев глубоко вздохнул и покачал головой.

Наконец он добрался до командного пункта стрелковой дивизии. Полковник соскочил с коня. Усталости как не бывало. Он шагнул к командиру, отдававшему ему честь:

— Проводите меня к генералу Бирюзову.

В блиндаже Сергея Семеновича Бирюзова он представился:

— Командир двадцать первой кавалерийской дивизии полковник Якуб Кулиев.

Генерал встретил его стоя. Он внимательно посмотрел в горящие черные глаза Кулиева, окинул взором его ладную фигуру и протянул руку.

— Добро пожаловать, полковник, добро пожаловать. Рад, что буду действовать с вами. Давайте приступим! Времени терять нельзя.

Генерал подвел гостя к развернутой на столе карте. Вызвал своих начальников штабов, они склонились над картой и принялись разрабатывать предстоящую операцию.

Когда все детали были уточнены, генерал пригласил Кулиева пообедать.

— Кстати, Якуб Кулиевич, из каких вы мест? — спросил он.

— Из Туркмении, Сергей Семенович, — ответил полковник.

— А, знаю, знаю ваш солнечный край, наслышан...

В блиндаж вошел командир корпуса генерал-лейтенант Магон.

— Как раз поспел к обеду! — вместо приветствия воскликнул он и тут же спросил: — А план разработали?

— Так точно, товарищ генерал, — разом ответили оба командира соединений.

Изучив план предстоящей совместной операции, генерал-лейтенант произнес:

— Неплохо... Остальное по обстановке... А теперь пообедаем — и за дело!

Медлить было нельзя. Положение на фронте с каждым часом становилось все тяжелее. Фашисты рвались вперед, теснили наши войска.

Дивизия Бирюзова должна была с боем перерезать шоссейную и железную дороги на участке между Кричевом и Рославлем и открыть дивизии Кулиева путь в тыл наступающим на Рославль гитлеровцам.

Полки сто тридцать второй стрелковой дивизии обрушили на врага шквальный огонь из всех огневых средств. Их поддерживала корпусная артиллерия. После артподготовки полки поднялись в атаку. Завязался бой. Тем временем танки кавалерийской дивизии вырвались из леска, где они укрывались до сих пор, и, на ходу ведя огонь из пушек и пулеметов, устремились вперед. Враг опешил. И тут эскадроны, сверкая на утреннем солнце обнаженными клинками, на полном скаку прорвались в ближайший тыл противника.

«Молодец Якуб Кулиев! Грамотно воюет!» — подумал генерал-майор Бирюзов, наблюдавший за боем со своего НП.

Конники Якуба Кулиева рубили саблями вражеских солдат и офицеров. У неприятеля началась паника. Но вскоре гитлеровцы опомнились и заняли круговую оборону. Из пулеметов и автоматов они поливали кавалеристов свинцовым дождем. Откуда-то прибыли танки с черными крестами на броне, и свежие части начали теснить полки Бирюзова и Кулиева.

Оставив на наблюдательном пункте своего заместителя, полковник то на коне, то ползком перебирался из одного эскадрона в другой. Он появлялся в самых жар-

ких местах боя, где положение казалось критическим, и увлекал солдат.

Погиб командир шестьдесят седьмого полка майор Максимов. Якуб Кулиев услышал эту горькую весть, находясь в воронке от большой бомбы. Он опустил бинокль и, отерев со лба пот, несколько раз затянулся папиросой. «Майор Максимов! Сколько хлеба и соли съели мы с тобой вместе!.. Сколько готовились к этим суровым дням... И вот тебя нет...»

Бой не стихал. Вести о потерях приходили к Якубу Кулиеву одна за другой. Он и сам видел погибших бойцов, командиров. Вокруг него рвались снаряды и мины, свистели пули... Ему вдруг вспомнились слова, сказанные перед этой операцией прежним командиром двадцать первой кавалерийской дивизии, а теперь командиром корпуса воздушно-десантных войск генералом Алексеем Семеновичем Жадовым: «Проникнув в тыл неприятеля, избегай затяжных боев и механизированных частей. Наноси неожиданные короткие, но чувствительные удары. Взрывай склады боеприпасов, уничтожай артиллерию. Налетай на штабы, перерезай пути подвоза. Не давай врагу ни минуты покоя!..»

Якуб Кулиев задумался. Ему показалось, что он вновь слышит напутствие бывшего заместителя командующего Среднеазиатским военным округом, генерального инспектора кавалерии генерал-полковника Оки Ивановича Городовикова: «Вы отправляетесь на выполнение чрезвычайно ответственной задачи. Будьте осторожны. Не горячитесь. Старайтесь не допускать напрасных потерь... Я верю, что вы найдете выход из любого положения...»

Связавшись с командиром корпуса, он приказал своим частям немедленно отходить в лес.

Такой же приказ отдал дивизии и генерал Бирюзов. Возле Якуба Кулиева находился адъютант, несколь-

ко штабных командиров, связисты и красноармейцы. Когда они покинули воронку, чтобы отойти к лесу, пять вражеских танков с десантом перерезали им путь. Автоматчики соскочили с танков и, укрываясь за ними, двинулись на группу Кулиева.

Полковник и его люди вновь залегли в воронке.

— Приготовить к бою гранаты, бутылки с горючей смесью!

Когда танки приблизились, Якуб Кулиев дал команду:

— Огонь!

Адъютант застрочил из автомата. В танки полетели гранаты и бутылки с зажигательной жидкостью. Дымным пламенем заполыхал один танк и остановился. У другого взрывом была перебита гусеница, и он завертелся на месте. Двое красноармейцев упали, обливаясь кровью.

— Перевяжите раненых! — крикнул комдив и попластунски пополз к переднему танку. За ним последовал адъютант и один из бойцов. Остальные, поняв замысел комдива, прикрывали смельчаков огнем, не давая десантникам поднять голову от земли. Расчет Якуба Кулиева был прост: раз на танках был десант, люки не должны быть закрыты.

Дорога была каждая секунда. Пока снаряды танковых пушек пролетали у них над головами, но если танкисты обнаружат их — изуродуют гусеницами, вдавят в землю...

Маскируясь на местности, комдив подполз к танку и, вспрыгнув на броню, потянул крышку люка. Люк действительно был не на запоре. Швырнув внутрь гранату, комдив быстро захлопнул люк и спрыгнул. Раздался взрыв, за ним последовал грохот рвущихся снарядов. Из люка ударила жаркая, едкая волна дыма. В это время адъютант и боец успели поджечь два других танка.

Увидев, что они остались без прикрытия, автоматчики, отстреливаясь, стали быстро отходить.

— А теперь заберем раненых — и в лес, — утирая рукавом пот, сказал командир дивизии.

...Майор Харазия, дожидавшийся в лесу полковника, тревожно посмотрел на Якуба Кулиева. Гимнастерка и брюки комдива были опалены, лицо покрыто сажей.

— Где вы так долго задержались, Якуб Кулиевич?

— Все в порядке, Хасан Лагустанович, — сверкая зубами, отозвался командир соединения. — Где был, там уж меня нет.

Дивизия сосредоточилась в лесу.

Полковник сидел, поджав под себя ноги. Грустные мысли владели им. Погиб командир двадцать второго артдивизиона майор Воронцов и командир семнадцатого полка майор Загребельный. Тяжело ранен начальник штаба полковник Юрьев. А сколько убито и ранено бойцов и младших командиров! И вдруг он поднял голову:

— Что приумолкли, джигиты?! А ну-ка, друзья, споем!

И Якуб затянул: «Распрягайте, хлопцы, коней...»

Наступил новый этап в жизни дивизии. Начинался рейд по тылам противника...

Полки Кулиева успешно громили врага. Они появлялись в самых неожиданных местах и в самое неожиданное время, нанося чувствительный урон гитлеровцам. Дивизия то рассредоточивалась и наносила удары сразу по нескольким объектам одновременно, то совершала налеты в полном составе, громя штабы и нарушая коммуникации. Фашистское командование теряло голову, не в состоянии обнаружить и расправиться с кулиевскими кавалеристами.

Якубу Кулиеву принесли приказ немецко-фашистско-

го командования, найдениый в полевой сумке убитого офицера: «Кулиевцев в плен ие брать, расстреливать иа месте...»

Якуб рассмеялся.

— Товарищи, это высшая оцеика наших боевых действий!

— А помните, как сказано у Махтумкули? — И старший политрук Кибальников процитировал любимого поэта комдива:

Не страшен враг нам, пусть он хоть у самых нашнх стен,
Нас в плен не взять, — туркмена сын не знает слова «плен».

— Да, — сказал одии из бойцов, выслушав эти строки, — кулиевцы живыми в плен не сдаются!..

В беспрестаииых изнурительных боях и переходах по тылам гитлеровцев проходили дии и иочи. Однажды Якуб Кулиев получил приказ о выходе к своим.

Прорваться сквозь линию фронта было решено иочью. Разведка обнаружила слабый участок в расположеиии противиика. Части стягивались иа исходиые позиции для прорыва. Вечером полковник тщательно выбрился и с улыбкой взглянул на Кибальиикова:

— Все приводят себя в порядок. Саша, и тебе не мешает. Ишь какую бородищу отрастил! Своих иапугаешь.

Ночью соединение с боем вышло к своим. Была выведена вся техника, вынесеиы раиеиые. Якуб Кулиев огляиулся на остающиеся позади леса.

— Пока прощайте, леса, давшие нам кров. Прощайте и вы, иаши погибшие братья.

В тот же деиь Якуб написал домой письмо: «Зииушка, я жив и здоров. Сообщи об этом маме и Бадысабе...»

После короткого отдыха двадцать первая кавалерийская дивизия, накопившая опыт боевых действий в тылу врага, была пополиеиа и снова отправлеиа за лииию фроита. В Бряиской, Смоленской, Орловской и Тульской областях, в Подмосковье ступали коии кулиевских

полков! Из скольких населенных пунктов изгнали кулиевцы оккупантов! Как радостно встречало своих освободителей население!

«Братья! Пришли, родные!» — плакали от радости исстрадавшиеся в неволе люди.

Эти картины навсегда запечатлелись в памяти Якуба Кулиева, его бойцов и командиров.

ВЫЗОВ

Конец января тысяча девятьсот сорок второго года. Трескучие морозы сковали землю. Штаб дивизии, находившейся на отдыхе, располагался в одной из школ Липецка. Сегодня сюда съехались командиры всех частей двадцать первой кавалерийской дивизии, чтобы попрощаться со своим комдивом. Якуба Кулиева отзывали в Москву для нового назначения.

Полковник выглядел опечаленным. Не лучше было настроение и у тех, кто собрался в школьном зале. Расставание всегда тяжко...

Якуб Кулиев разглядывал лица боевых друзей, словно пытаясь навсегда запечатлеть в памяти их образы. Наконец он заговорил:

— Что сказать вам, дорогие мои братья? Трудно мне говорить, легче было бы схватиться с врагом... Но и молчать не могу. Скажу правду — мне не хочется разлучаться с вами... Но никто из нас не имеет права не подчиняться приказу. Что ж, до свидания, мои храбрые боевые друзья! Я благодарю вас за солдатскую службу, за вашу дружбу, за ваши дела и за ваше геройство. И впредь честно и доблестно служите нашей любимой Родине. Уничтожайте проклятых хищников. От всего сердца желаю всем вам благополучно дойти до Берлина. День нашей победы не за горами. Я твердо верю в это. Да будет она вашим спутником, братья мои!..

Он подошел к стоявшему рядом командиру сто две-

надцатого полка майору Хасану Лагустановичу Харазия и комиссару полка старшему политруку Павлу Гавриловичу Сесину и поочередио крепко прижал их к своей груди. Затем обиял сержаита с забиитоваииой головой— секретаря партийной оргаиизации эскадроиа.

— До встречи, Акмурад!..

Расцеловался со своим старым другом батальоииым комиссаром Кибальииковым.

— Приходится иам расставаться, дорогой Саша... Что поделаешь? Такова судьба военного человека.

Обернувшись к залу, Якуб Кулиев сказал:

— Мие хочется обиять и расцеловать всех вас, товарищи!

Осторожио ступая, ои подошел к развериутому знамени дивизии и, опустившись иа колено, поцеловал край алого полотиища. Затем, ие оборачиваясь, иаправился к двери, иа ходу доставая из карманa коробку папирос.

— До свидаиья, товарищ полковиик! — послышалось вслед.

— До победы, товарищ комдив!

— Желаем вам счастья!

Машииа, ожидавшая у дверей, умчала комдива. Высыпавшие на крыльцо комаидиры видели, как она стаиовилась все меньше и меньше и иакоиец исчезла за поворотом.

Поезд, иа который после долгого ожидаиия сел Якуб Кулиев, стоял иа каждом полустаике, ио в коице концов довез комдива до Москвы. С вокзала Якуб Кулиев пошел пешком, желая посмотреть на столицу в годину войиы. Москва была ие похожа иа ту, которую он помнил, когда учился в академии. Ои отворачивался, проходя мимо разрушениых бомбами здаиий, словио это по его вине фашистские самолеты иет-иет да прорывались к городу. Увидев очереди за хлебом, ои прикусил губу. «Где-то моя Зииа, мама, Бадысаба?.. — сверлило у иего в мозгу. — Как оии? На каждом шагу печать войны...»

Явившись в Генштаб, он отрапортовал:

— Полковник Якуб Кулиев явился по вашему приказанию...

Ока Иванович Городовиков, улыбаясь, вышел из-за стола, протягивая руку.

— Здравствуй, Якуб Кулиевич. Но, прости, я вынужден внести поправку в твой рапорт... Не «полковник Якуб Кулиев», а «генерал-майор Якуб Кулиев». Да, да, поздравляю. Ты теперь генерал. И еще прими одно поздравление — с орденом Красного Знамени. Вот так... А теперь поговорим о том, зачем мы вызвали тебя в Москву... Денек-другой отдохни и отправляйся в Ташкент. В штабе округа получишь назначение в Мары. Там примешь Туркменскую кавалерийскую дивизию. Тебе поручается научить ее сражаться... Опыта у тебя теперь достаточно.

У Якуба Кулиева закружилась голова. «Генерал... Орден Красного Знамени... Мары...» Однако он тут же взял себя в руки:

— Поеду куда прикажете, товарищ генерал-полковник, но можно... вернуться обратно, в мою дивизию?..

Ока Иванович, покручивая ус, прошел за стол.

— Твои полки уже обстреляны. Тебе надлежит научить сражаться новую дивизию... Мы тут посовещались и не нашли лучшей кандидатуры, чем твоя... Кстати, насколько мне известно, жена твоя в тех краях.

— Оказывается, вы и это знаете, товарищ генерал-полковник, — удивился Якуб Кулиев. — И правда, моя Зина там...

— Ну вот и хорошо, повидаешься со своей Зиной, Зинаидой... Прости, забыл ее отчество...

— Зинаида Васильевна, товарищ генерал-полковник.

— Помню, помню... Хорошая у тебя спутница, Якуб Кулиевич.

У Якуба посветлело лицо:

— Лучшей жены и не бывает, Ока Иванович!

— Это само по себе уже счастье, — закивал Городовиков. — Так вот, Якуб Кулиевич, ты первый генерал из туркмен. Уверен, что с честью будешь носить высокое звание. — И Ока Иванович нажал на одну из кнопок.

В дверях появился адъютант:

— Слушаю, товарищ генерал-полковник.

— Посодействуйте товарищу генерал-майору, чтобы все его дела были улажены без задержки.

Уже на следующий день Якуб Кулиев облачился в генеральскую форму, и на груди у него засверкал орден Красного Знамени. В его распоряжении находилась машина и офицер для поручений.

Куда в первую очередь направился генерал Кулиев? Конечно, в Академию имени Фрунзе, которой был обязан своими воинскими знаниями.

Выйдя из академии, Якуб Кулиев решил пешком добраться до гостиницы. Вдруг его окликнули:

— Товарищ генерал!

Якуб Кулиев не привык еще к новому званию и не обернулся.

Окликнувший его старший лейтенант прибавил шаг:

— Товарищ генерал!

Якуб Кулиев продолжал идти.

— Ёлдаш![1] — послышался новый окрик, и Кулиев мгновенно остановился.

— Молла! Молла Ниязов! Ты ли это, мой черноокий!

— Конечно, я! Поздравляю вас с генеральским званием, Якуб Кулиевич!

— Спасибо, Молла. Где ты? Что?

— Вот выписался сегодня после ранения из госпиталя, завтра отправляюсь обратно в часть.

— А если я не отпущу тебя на фронт, а увезу в Мары? — немного подумав, сказал генерал.

— Нельзя, товарищ генерал-майор.

---

[1] **Елдаш** — товарищ.

— Как это нельзя, товарищ старший лейтенант? Думаешь, меня можно отозвать с фронта и послать в Мары, а тебя нельзя? Ну-ка, пойдем посмотрим — можно или нельзя! Мне нужны такие помощники, как ты, обстрелянные командиры, фронтовики. Пошли!

— Куда, Якуб Кулиевич? — растерялся Молла Ниязов.

— Увидишь.

И Якуб Кулиев повел старшего лейтенанта прямо к Оке Ивановичу Городовикову. Увидев Кулиева, генерал-полковник улыбнулся:

— Идет тебе генеральская форма... Очень идет. Ну, что тебя привело ко мне?

— Просьба у меня, товарищ генерал-полковник... — Волнуясь, он объяснил, что старший лейтенант Молла Ниязов ему необходим в новом соединении. — Фронтовик. Кавалерист. Долгое время служил со мной... Он, конечно, рвется обратно на фронт, но...

Ока Иванович вызвал адъютанта.

— Сейчас же напишите от моего имени в часть старшего лейтенанта. Попросите направить его личное дело в Мары, в девяносто седьмую Туркменскую кавалерийскую дивизию... — Обернувшись к замершему по стойке «смирно» Молла Ниязову, он добавил:— Ступайте, дайте адъютанту все необходимые сведения.

Якуб Кулиев поблагодарил генерал-полковника. Ока Иванович потеребил обвисший ус.

— Есть еще просьбы, Якуб Кулиевич?

— Никаких, товарищ генерал-полковник. Будьте живы-здоровы.

— Спасибо. Не забывай — ты обязан как следует подготовить дивизию к жестоким боям, генерал!

— Постараюсь, Ока Иванович!

Зажглась лампочка на столе, и Городовиков проворно поднес к уху трубку одного из многочисленных телефонов.

— Да, слушаю, товарищ маршал... Он как раз у ме-

ня... Сейчас, Семен Михайлович. — Городовиков положил трубку на рычаги и обернулся к Якубу Кулиеву. — Товарищ Буденный просит тебя зайти.

Лоб и ладони у генерал-майора повлажнели.

— Буденный?!

— Да. Иди. И не волнуйся. Семен Михайлович очень простой человек.

Едва переступив порог кабинета Буденного, Кулиев начал рапортовать:

— Товарищ Маршал Советского Союза...

Семен Михайлович замахал руками и, встав из-за стола, пошел навстречу.

— Поздравляю, поздравляю с генеральскими звездами и орденами, товарищ Кулиев!

Словно завороженный глядел Якуб Кулиев на Буденного:

— Служу Советскому Союзу, товарищ маршал... Спасибо...

— Проходи, проходи, садись... Слышал о твоей замечательной двадцать первой дивизии. Наслышан и о твоем личном героизме...

Якуб Кулиев и вовсе разволновался.

— Спасибо за добрые слова, товарищ маршал, — смущенно произнес он, — но в дивизии бесстрашные командиры, политработники и красноармейцы, — вот они действительно герои...

— Это ты правильно говоришь, — перебил Буденный. — Только ведь им тоже нужна бесстрашная и умная голова. А это ты сумел воспитать их!

— Спасибо на добром слове, Семен Михайлович. — Якуб Кулиев все еще не мог прийти в себя.

Буденный подкрутил усы и отбросил на стол карандаш, который вертел в руках.

— Ока Иванович, наверное, уже говорил, но скажу и я... Тебе поручается важное дело: быстрее подготовить к боям вновь сформированную дивизию. Верю, что ты спра-

вишься с этим заданием. Если нужна помощь — проси, не стесняйся... Правда, я слышал, что тебе хочется вернуться на фронт, в свою дивизию... Но этого мы не можем тебе позволить. Накопленный тобой опыт сейчас нужнее для новой дивизии, сформированной по просьбе трудящихся и правительства Туркмении.

— Спасибо за доверие, товарищ маршал. Постараюсь оправдать его.

— Вот и хорошо, — сказал Буденный и поднялся с места. — Ты вылетаешь завтра утром. Место на самолет забронировано. Желаю удачи. Передай привет туркменскому народу.

Стоя навытяжку, генерал сказал:

— Обязательно передам, товарищ маршал.

Якуб Кулиев был очень доволен, что взял с собой Молла Ниязова. Старший лейтенант был опытным боевым командиром и отличным собеседником. В задушевных разговорах генерал-майор даже не заметил, как они долетели до Ташкента, где предстояло делать пересадку на поезд. «Если бы не Молла, я бы извелся, пока доехал до дому...»

— А вы написали в свою дивизию о том, что теперь генерал и награжден орденом? — прервал его мысли старший лейтенант.

— Нет, Молла, — покачал головой Якуб Кулиев, — об этом не написал. Сообщил только, что меня направляют в Мары.

Старший лейтенант пожал плечами.

— А я бы не удержался, чтобы не похвастать, — рассмеялся он. — Значит, генерал из меня не получится — выдержки нет... Да, не зря вы столько времени и сил отдали учению. Завидую вам. Верно говорится: «Сильный свалит одного, ученый — тысячу».

Поезд шел вперед, оставляя за собой километры. И

Якуб и Молла с замиранием сердца ждали приезда в родные края. На вторую ночь пути они проснулись от грохота. Им показалось, что начался артобстрел. Но это поезд шел по мосту. Оба прильнули к окну, но в ночной темноте ничего не смогли разглядеть.

— Возможно, Амударья, — предположил генерал.

— Наверняка, — отозвался старший лейтенант. — Ишь какой длиннющий мост.

Якуб Кулиев приложил руку к груди:

— Колотится, не успокоишь...

Молла Ниязов рассмеялся:

— Еще бы! Родная земля, родные места, семья... Нелегко сердцу состоять на службе у Зинаиды Васильевны. Оно это знает... И у меня тоже колотится. Ведь и я увижу своих...

— Дай только доложиться начальству, и тогда сразу отправимся по домам...

Они шутили, смеялись, а поезд уже приближался к цели их путешествия.

— Завтра же тебе придется принять эскадрон и готовить его к показательным учениям, — заговорил Якуб Кулиев. — Прикомандирую всех командиров эскадронов к тебе, пусть учатся, как нужно организовывать бой.

— Дайте срок, товарищ генерал, все будет сделано.

Якуб Кулиев вышел на перрон; он не ждал (никому не сообщал о своем приезде), что кто-то будет встречать его, но вдруг увидел Зинаиду Васильевну. От волнения у него задрожали ноги. Он остановился как вкопанный.

— Якуб! — закричала Зинаида Васильевна, бросаясь к нему.

— Зинуша... — пробормотал он. — Как я рад. Откуда ты узнала?..

Поодаль, разговаривая с Молла Ниязовым, стоял старший батальонный комиссар. Он подошел к супругам, когда они, держась за руки, медленно направились вдоль перрона, и представился:

— Комиссар вверенной вам дивизии, товарищ генерал-майор. Поздравляю с прибытием.

— Гулам! — Якуб обнял брата. — Ты — комиссар!..

Но это была не последняя неожиданность, ожидавшая его на перроне. К Якубу Кулиеву подошел седоусый старик с палочкой.

— Оказывается, мне суждено еще раз увидеть тебя, Якуб. Я рад, что ты жив и здоров...

Кулиев опешил от удивления:

— Дядя Вася! Василий Федорович! Товарищ Константинов! — И он принялся тискать старика в своих объятиях.

С первых же часов началась кропотливая работа. Якуб Кулиев целиком отдался ей. Он беседовал с бойцами, встречался с командирами, служившими в соединении, — Бердымурадом Довлетджановым, Аннаклычем Атаевым, Хекимом Оразбердыевым, Клычниязом Азаловым, Дангатаром Овездурдыевым, Ходжагельды Ашировым, с политработниками — Ата Ниязовым, Кара Клычевым, Непесом Кулиевым, Гургеном Мурадовым, Язкули Худайбердыевым, Мухаммедом Атаевым, Аманом Курбановым, Розы Бердыевым, с военврачами Хан Чапав, Дурды Непесовым... Выступал в подразделениях, рассказывая о том, что ему пришлось видеть на фронте. Бывал на учениях. Обучал командиров, политработников и красноармейцев искусству боя. Не пропускал показательных занятий, которые проводил старший лейтенант Молла Ниязов, разбирал с командным составом все удачи и просчеты. Лишь изредка ему удавалось выкроить часок-другой, чтобы отправиться с Зинаидой Васильевной и друзьями на Мургаб — покупаться, половить рыбку, отдохнуть.

Личный состав дивизии неутомимо готовился к предстоящим боям. Генерал-майор Кулиев уже доложил о готовности дивизии и ждал приказа об отправке на фронт.

Но случилось так, что дивизия приняла боевое крещение не под командованием Якуба Кулиева...

Он получил новое назначение — заместителем командира четвертого кавалерийского корпуса, дислоцированного южнее Сталинграда и готовившегося принять участие в решающем наступлении. Там его ждал командир корпуса, давний знакомый — генерал-лейтенант Тимофей Тимофеевич Шапкин.

Двадцать восьмого сентября сорок второго года Туркменская кавалерийская дивизия провожала своего генерала.

Поезд уже тронулся, когда Зинаида Васильевна отпустила из своих объятий мужа. Она долго махала платком вслед удаляющемуся составу...

НАСТУПЛЕНИЕ

Не было человека в четвертом кавалерийском корпусе, который не знал бы Якуба Кулиева лично или понаслышке. Еще бы — двадцать первая кавалерийская дивизия, которой он командовал, перед отправкой в действующую армию входила в состав этого корпуса. О доблести, проявленной на фронте двадцать первой дивизией, личный состав корпуса был хорошо осведомлен. Известно было и о том, что Якубу Кулиеву присвоено звание генерала, что он награжден боевым орденом.

Прибыв в корпус, Якуб Кулиев немедленно отправился к генерал-лейтенанту Шапкину:

— Товарищ генерал, генерал-майор Кулиев прибыл в ваше распоряжение!

Тимофей Тимофеевич сжал обеими руками руку своего нового заместителя, обнял его. Потом, отступив на шаг, оглядел с ног до головы.

— Хорош! Поздравляю тебя, друг, и с генералом, и с орденом!

— Спасибо, Тимофей Тимофеевич!

— Проходи, садись.

Геиерал-лейтенант сел на стул рядом. Он с любовью смотрел в черные глаза Якуба Кулиева, иа иссиия-черные волосы, иа новенький орден, на ладио подогнаиную форму, на иачищенные до блеска сапоги.

Генерал-майор достал из кармаиа коробку папирос.

— Позволите, Тимофей Тимофеевич?

— Кури, кури! Дай-ка одну и мие. Подымлю за компанию, — сказал генерал-лейтенант, протягивая руку.

Комаидиры закурили.

— Как поживает Зииаида Васильевна?

— Все в порядке, Тимофей Тимофеевич. Просила передать вам сердечиый привет.

— Спасибо и тому, кто послал привет, и тому, кто привез его. А как мать и сестра?

— Все нормально.

— Ну и слава богу. Ты, наверное, проголодался после дальней дороги?

— Нельзя сказать, что сыт.

Шапкин посмотрел на часы.

— Как раз время обеда. Идем.

Оии перешли в другую комнату и уселись за стол. Ординарец принес обед и хотел удалиться, но генерал-лейтенант остаиовил его.

— Трофим, а я думал, что нарком и генералам отпускает по сто грам, да что-то ие вижу...

Трофим растеряино выпятил губы...

— Товарищ геиерал, вы же сами говорили, чтобы я не прииосил...

— А разве рядом со мной был тогда генерал-майор Кулиев?

— Нет...

— А сейчас, дорогой Трофим?

— Понял, товарищ генерал, — расплылся в улыбке ординарец. — Сию минуту.

Якуб Кулиев похлопал бойца по плечу:

— И я не большой питок, Трофим, но, думаю, можно пропустить стопочку в честь встречи с Тимофеем Тимофеевичем.

Генерал-лейтенант разлил водку.

— Что ж, с благополучным прибытием, Якуб Кулиевич!

— За встречу, Тимофей Тимофеевич! За успех в наших боевых делах, товарищ генерал.

Они чокнулись.

— Я долго убеждал начальство направить тебя ко мне, Якуб Кулиевич, — сказал Шапкин, отламывая хлеб. — Твоя академия — накопленный боевой опыт, твое имя и авторитет... К тому же в корпусе служат представители всех народов Средней Азии. Одно то, что генерал Кулиев обратится к ним на их родном языке, что они своими глазами увидят его, — уже будет иметь огромное воспитательное значение... А задачи перед корпусом стоят серьезные. Надо нацелить на них весь личный состав. Разъясняй. Учи. Требуй. Словом, я буду опираться на тебя, Якуб Кулиевич, — он налил еще по половине стопки. — За нашу совместную службу!

— Всеми силами буду стараться оправдать ваше доверие, Тимофей Тимофеевич.

— На это я и надеялся, Якуб Кулиевич.

Обсудив предстоящие задачи и наговорившись вдосталь, они расстались. Каждый занялся своими делами. Их встречи стали с того дня редкими. Якуб Кулиев кочевал из дивизии в дивизию, из полка в полк, из эскадрона в эскадрон. Дни и ночи он проводил среди бойцов и командиров, учил их, делился собственным опытом и знаниями, рассказывал о том, что видел на фронте. Перед глазами его слушателей, словно кинолента, проходили подвиги бойцов и командиров двадцать первой кавалерийской дивизии.

А Тимофей Тимофеевич искал встречи с ним, но куда

бы ои ии приезжал, где бы ии спрашивал геиерала Кулиева, ему отвечали:

— Только что уехал от иас...

— Генерал отправился в соседний полк...

«Молодец Якуб! — думал о своем друге геиерал-лейтенант. — Можно ли желать лучшего заместителя, чем ты! Я хотел дать тебе несколько дией отдыха, а даже увидеться с тобой не могу! А когда встречаю, ты говоришь: «Отдохием после войиы...»

Началось великое иаступление советских войск под Сталииградом. Сиежиое утро девятиадцатого ноября сорок второго года стало свидетелем долго ие смолкавшей, иевидаииой и неслыханиой доселе каиоиады. Словно весь мир охватил грохот орудий и минометов, оглушительиый вой «катюш». Земля дрожала и качалась, и казалось, вот-вот вывернется иаизианку.

Затем вперед рииулась армада таиков, за иими следовала пехота. Оборонительные порядки гитлеровцев были прорваиы.

Пришел черед вступать в бой четвертому кавалерийскому корпусу. Комкор Шапкии отдал приказ: «..В иочь на двадцать первое иоября четвертый кавкорпус должен войти в прорыв между озерами Цаца и Барманак. Общее иаправление — иа Абгаиерово. Корпус приказано громить вражеские тылы и резервы. Задача — в течение дия овладеть Абгаиерово и перерезать железиую дорогу Сталинград — Котельниково. Особое внимание уделить направлеиию Аксай — Кательниково».

Гусеиицы таиков оставляли глубокие следы иа сиежном поле. Копыта мчавшихся во весь опор коней взметали в воздух комья сиега. Корпус расстреливал, рубил саблями, громил вражеские тылы и уиичтожал подходившие к фронту резервы.

Генерал-майор Кулнев поспевал всюду.

— Будь осторожнее, Якуб Кулневич, — наказывал ему Шапкин.

Бой не прекращался. Фашисты оказывали ожесточенное сопротивление. День прошел в кровопролитных схватках.

— Берегите людей. Победа, добытая малой кровью,— двойная победа, — непрестанно повторял Якуб Кулнев.

Однако война есть война, и потери в ней неизбежны. Погибли командир и комиссар восемьдесят первой кавалерийской дивизии полковник Баумштейн и Турбин, начальник штаба подполковник Терехин...

Генерал Якуб Кулнев видел, как воин-комсомолец Каплунов поджег три вражеских танка и уже тяжело раненный вступил в единоборство с четвертым. «Подвиг! Геройский подвиг!» — восхищенно повторял Якуб Кулнев.

На его глазах командир орудия Халык Шандаров прямой наводкой подбил танк.

— Молодец, Халык! — крикнул ему генерал.

Ему понравилось, как во время атаки орудуют саблями бойцы-конники Худайберды Махмудов и Аман Бердыев.

«Настоящие джигиты! Достойные потомки Кёр-оглы!»

Корпус с боями продвигался к Котельниково.

Под Сталинградом сжимались тиски вокруг армии Паулюса. Однако положение оставалось серьезным. Собрав в кулак все имевшиеся танки, немецко-фашистское командование поручило генерал-фельдмаршалу Манштейну перейти в контрнаступление. Он во что бы то ни стало должен был пробить дорогу к Сталинграду, чтобы вызволить окруженную группировку Паулюса. С большими потерями Манштейну удалось обойти правый фланг

второй гвардейской армии генерал-лейтенанта Родиона Яковлевича Малиновского. Над второй гвардейской нависла опасность.

Двадцатого декабря шестьдесят первой дивизии четвертого кавалерийского корпуса был дан приказ выбить гитлеровцев с занятой ими высоты. Сначала дивизия обработала вражеские позиции артогнем. Следом вступили в действие штурмовики, и уж затем пошла в атаку конница. Впереди несся полк, которым командовал майор Акопян.

Здесь, конечно, находился и генерал-майор Кулиев.

Зная, что в их рядах бьется с врагом прославленный генерал, бойцы стремительно неслись вперед. Приказ был выполнен. Враг был сброшен с высоты и обращен в бегство. Но генерал-майор Якуб Кулиев уже не знал, что высоту заняли, что фашисты в панике откатываются назад, что сам он за этот бой будет награжден орденом Ленина...

Недалеко от него разорвался вражеский снаряд. Повалившись с седла и уже лежа на снегу, генерал едва слышно произнес:

— Вперед, ребята!

Над Кулиевым склонились санитары. Натянули поводья и спешились бойцы. Они стояли сжав зубы, сурово сдвинув брови. Каждый из них посчитал бы счастьем прикрыть командира грудью, защитить своим телом...

Приказав немедленно доставить генерала в полевой госпиталь, майор Акопян вздохнул и крикнул:

— Мы отомстим!.. Вперед, вперед!..

Гитлеровцы успели перегруппироваться и пытались восстановить оборону. Но кавалерия смяла их и начала преследование. Среди шума и грохота боя слышался полный ярости голос командира полка:

— Мы отомстим!..

ЭПИЛОГ

Командир кавалерийского корпуса генерал-лейтенант Тимофей Тимофеевич Шапкин отвел глаза от погибшего в бою товарища и посмотрел на небо, покрытое тучами. И вдруг сквозь них пробился солнечный луч и упал на Якуба Кулиева.

Командиры, политработники, красноармейцы в скорбном молчании ждали слов генерала. Сделав над собой усилие, он заговорил:

— Мечтой нашего соратника, талантливого командира, первого туркменского генерала была победа. И мы победим! Обязательно победим! И в этой победе будет огромный вклад генерала Кулиева. Мы называли его «Звездой Мургаба». Мы называли его «Туркменской звездой». Она не угаснет! Вечно сиять ей над родным краем, над берегами родного Мургаба!


Рассказы

МИКОЛА

Держа под мышкой завернутый в плащ-палатку узел, старшина Байры Хекимов подошел к ротной кухне.

Кухня мирно дымила на краю поляны. Так же мирно и негромко шелестели окружающие поляну деревья. И только птичьего щебета и гомона не хватало для полного завершения картины. Но птиц не было в этом прифронтовом лесу, как и людей, — их распугала война, согнала с привычных и обжитых мест.

Возле кухни на перевернутом вверх дном ведре примостился мальчонка лет двенадцати-тринадцати. Десантным трофейным ножом он чистил картошку и бросал ее в стоящее напротив ведро. Работал он споро, проворно, было видно, что это дело ему не в новинку. От падающих картофелин летели брызги воды, радужно вспыхивая на солнце. Когда капли попадали в лицо, мальчонка хмурился и, оттопыривая нижнюю губу корытцем, сдувал их, не прекращая орудовать ножом, слишком большим и слишком неуместным по своему предназначению для худеньких детских рук.

— Микола! — негромко окликнул старшина.

Мальчонка вздрогнул, поднял голову.

— Поди сюда, — поманил его Хекимов.

Он послушно подошел, шмыгая носом, — щупленький, веснушчатый, с торчащими рыжими вихрами.

— Держи! — старшина подал ему принесенный узел.

Микола взял сверток, посапывая и вопросительно глядя на Хекимова.

Тот улыбнулся.

— Ну, чего смотришь? Обещал я тебе или не обещал? Сказал: как только перерыв в наступлении будет, так и...

Глаза Миколы засияли, словно в каждом нз ннх зажглось по маленькому солнцу. Губы растянулнсь в глупую, счастливую улыбку. Он выронил узел, бросился к старшине, прижался лицом к его животу в таком безотчетном порыве благодарности, выразить которую он даже не знал как.

— Ну, будет... будет тебе! — поглаживая вихрастую голову мальчика н нарочнто хмурясь, чтобы не расчувствоваться от внезапно прихлынувших воспоминаннй о своем таком же парннщке, пробормотал старшина. — Успокойся, пожалуйста...

— Я думал, вы так... думал, обманываете... — проговорил наконец сияющий Микола, глядя на старшину снизу вверх преданно и влюбленно. — Я думал...

— Чудной ты парень, — прервал его Хекимов. — Где это видано, чтобы солдат солдата обманывал? Да ты хоть погляди, что я тебе принес! А то слова разные говоришь, а глазами еще ничего не вндел.

Проворные руки Мнколы быстро разворошили узел. Конечно же здесь было именно то, что он ждал с таким нетерпеннем, — новенькая военная форма. Пальцы мальчнка словно ласкали каждую вещь. Пнлотка, брюки, сапоги, белье — все было маленьким, по росту Мнколы. И самое главное — гимнастерка с настоящими зеленымн солдатскими погонами!

— Рад? — спросил старшина.

Мог бы и не спрашивать — Микола весь светился радостью.

— Давай сбрасывай свое барахло н переодевайся. Посмотрим, каков ты в солдатской одежде.

Мальчик помялся и сказал:

— Можно, я не здесь?.. Можно — там?

Он кнвнул в сторону леса.

Хекимов сперва недоуменно вздернул брови. Потом понял желание парнишки появиться сразу преображенным и согласился:

— Беги. Но только быстро, по-солдатски: раз, два — и готово!

Микола схватил вещи в охапку и помчался за толстенный ствол векового бука. Торопливо сбросил свою ветхую от времени и житейских невзгод одежонку, натянул белье, брюки, гимнастерку. Труднее пришлось с обуванием. Портянку приходилось заматывать стоя на одной ноге, — присесть Микола боялся, чтобы не испачкать брюки. Он усиленно сопел, стараясь сохранить шаткое равновесие, потел от усердия, прыгал на одной ноге, то хватаясь за ствол дерева, то балансируя в воздухе рукой. Но в конце концов справился и с сапогами.

Отдышавшись, огладил себя ладонями, стряхивая невидимые соринки, потопал каблуками о землю, чтобы ладнее сели на ногу сапоги, — и вдруг закружился в каком-то восторженном танце. Он был счастлив как никогда за всю свою недолгую жизнь. Ему хотелось кричать, петь во все горло, совершать невиданные подвиги. Но... у кухни ждал старшина. И Микола, оборвав свой танец, сбил щелчком с ветки притаившегося там серого паука, поправил на голове пилотку и с чувством собственного достоинства, с замирающим сердцем направился к поляне.

Придирчиво осмотрев его, старшина одобрил:

— Хорош! Не узнать тебя, парень, поздравляю! Мать и та...

Но тут Хекимов спохватился, прикусил язык и суетливо зашарил по карманам.

— Вот тебе, Микола... держи!

На широкой ладони старшины лежала горсть конфет в ярких обертках.

Микола смутился:

— За что мне, товарищ старшина? Обновку принесли — и меня же конфетами дарите!

— Бери, бери... Это такой старый обычай у туркмен есть, — со вздохом продолжал Хекимов, вспомнив опять своего сынишку и подумав, что ему тоже вряд ли приходится часто радоваться и обновкам, и лакомствам. — Есть такой обычай у нас, Микола... Когда ребенок надевает новую рубашку, ему обязательно делают еще какой-нибудь маленький подарок. Хороший обычай, как по-твоему?

— Очень хороший! — от души согласился Микола, рассовывая конфеты по карманам. У него слюнки текли от желания попробовать хоть одну, но он почему-то стеснялся старшины, несолидным казалось сосать конфету человеку, у которого на плечах солдатские погоны. Микола покосился на погон краем глаза и сглотнул слюну.

Подошел повар Захаров. Уставился на Миколу, присвистнул с удивлением.

— Вот это да! Вот картина! Ты ли это, мой боевой помощник? Молодец, Микола! — И он дружески похлопал мальчика по плечу.

Микола шарахнулся в сторону.

Захаров изумился.

— Руки у вас, дядя Анатоль... — укоризненно сказал Микола.

— Руки? — в голосе повара было явное недоумение.— Ну так что же? У всех руки...

— Сальные они у вас, в масле... А вы за новую гимнастерку. Пятна потом не отстираешь!

Захаров прыснул, затем расхохотался, приседая и восхищенно шлепая себя ладонями по коленям: ай да Микола, вот так хват!

Улыбнулся и Хекимов, успокаивая парнишку:

— Нет никаких пятен, не волнуйся.

Вдоволь насмеявшись, повар протянул насупленному Миколе руку:

— Ладно, давай мир. Всем ты, парень, хорош, только не понимаю, почему ты как арестованный ходишь.

Подозревая какой-то подвох, Микола недоверчиво огляделся:

— Почему я арестованный?

— А ремень твой где? — вопросом на вопрос ответил Захаров.

Старшина досадливо крякнул:

— Ах ты, черт возьми! Действительно забыли про ремень...

— Дело поправимое, — успокоил повар. — Берег для себя, да уж по такому случаю не пожалею.

Он сходил к своей землянке и вернулся с новеньким кожаным ремнем.

— Носи, Микола! Пользуйся моей добротой.

Ремень при всех своих неоспоримых достоинствах оказался слишком велик — без малого дважды опоясывал парнишку.

— Шило есть? — спросил Хакимов.

— Найдем и шило и мыло, — сказал повар.

Старшина сам провернул в ремне новые дырки, собственноручно затянул его на Миколе, расправил на спине мальчика складки гимнастерки.

— Ну вот, теперь, как говорится, порядок в танковых войсках.

— Мы же пехотинцы, а не танкисты, — поправил Микола.

Хекимов усмехнулся:

— Поговорка такая есть, присловие... Встань-ка, Микола, и доложи, как по уставу положено.

Микола вытянулся по команде «смирно». Секунду помедлив, неумело отдал честь и крикнул:

— Рядовой Микола Андреевич Терещенко явился!

— Положим, не совсем так, но будем считать, что

так,— не очень вразумительно сказал старшина. — На солдата, по крайней мере, ты похож.

— Служу Советскому Союзу! — немедленно отозвался Микола.

Старшина потер затылок: побаливала голова после недавней контузии.

— Послужишь, сынок... Все мы послужим еще...

Помолчал, ожидая, пока под пальцами приглохнет боль, еще раз окинул Миколу строгим взглядом и добавил:

— Двигай, Микола Андреевич, рядовой Терещенко, в атаку на свою картошку, а то с обедом запоздаем. Солдат надо как следует кормить не только в бою, но и на отдыхе.

Микола снова козырнул. Это, видимо, доставляло ему удовольствие.

Хекимов серьезно ответил на приветствие и пошел по своим делам — забот у ротного старшины всегда в избытке. Он шел и думал о войне, которая одевает военную форму не только на взрослых, но и на маленьких детишек, вроде того же Миколы. Сколько их, бездомных сирот, бродит по военным дорогам, ютится на пепелищах сожженных немцами городов и сел, сколько их, шагнувших в свое горькое возмужание, минуя детство и юность? Подлая штука — война, подлая штука — фашизм, калечащий детские жизни!..

...Когда отцу пришла повестка из военкомата, он крепко обнял Миколу.

— За старшего в доме остаешься, сын, как единственный мужчина. Мать не обижай, слушайся ее. За хозяйством смотри, чтобы в полном порядке было к моему возвращению.

Микола, и в самом деле почувствовавший себя взрослым, степенно кивал, изо всех сил сдерживая слезы.

— Все понял, тату, все сделаю, как велишь... А ты скоро вернешься?

— Скоро, — пообещал отец. — Как только прогоним германа с нашей земли-кормилицы, в тот же самый час и вернусь.

— А он страшный, герман этот, сильный? — допытывался мальчик. — Ты его не боишься?

— Нахальный он до чрезвычайности, — сказал отец. — И жадность у него волчья: по самые уши в крови — и все мало. А бояться — чего ж его, сын, бояться? Если волка забоишься, он тебе хрип перервет. Бить его, зверюгу, надо, так бить, чтобы он с визгом хвост промеж ног уносил.

— Если он сюда придет, я его тоже бить буду! — решительно заявил Микола и сжал кулаки, чуть подавшись вперед.

— Не доведи бог до этого! — вздохнул отец и, прощаясь с женой, говорил: — Ты гляди за ним, Катерина, совсем еще дите несмышленое, побереги, один ведь он у нас...

Проводил Микола отца и стал нетерпеливо дожидаться его возвращения с победой. Но уже очень скоро понял, что победить врага совсем не так просто, как сбить на кулачках соседского Тараску. Немцы перли напролом, как сдуревший бугай на плетень. По радио то и дело передавали: «После упорных оборонительных боев нашими войсками оставлены...» Много было названий, все и не упомнишь. А потом радио замолчало вовсе, люди стали пользоваться слухами.

Дурные это были слухи, один хуже другого. О том, что вытворяли фашисты в захваченных городах и селах, передавали с такими подробностями, что у Миколы по спине мурашки как от ледяной воды ползли. Немцы стали казаться ему не людьми, а какими-то несуразными звероподобными чудищами. Он даже во сне их видел —

лохматых, клыкастых, зверино рыкающих — и весь сжимался от ужаса.

А вскоре они заявились и в их село. К удивлению Миколы, они оказались вполне обычными людьми, только очень уж беспонятными и горластыми и без толку — кричали рядом стоящему человеку так, словно тот на другом конце села находился. И еще бесцеремонно тащили все, что попадется на глаза. «Они придурки и воры, как цыган Митька», — решил успокоившийся было Микола. Но потом началось что-то страшное.

Чужаки повесили на перекладине школьных качелей тетку Горпину и безногого счетовода Евсея Савовича, что-то дурное сделали с председателевой дочкой Ганной и учительницей Идой Борисовной. Ганна после этого куда-то пропала, а Ида Борисовна бегала по селу босая, простоволосая и все что-то искала в дорожной пыли, а немцы гоготали жеребцами и бросали ей вслед всякую гадость.

Они посадили в колхозный амбар придурковатого Митьку и всех цыган, что жили на хуторе. Потом подпалили амбар и стали стрелять в него из пулеметов, а цыгане кричали страшными голосами. Микола сидел дома, но слышал эти крики, и его била нервная дрожь, а мать все шептала быстро и беззвучно серыми губами, все прижимала к себе сына, гладила его по голове трясущимися, чужими руками. А на другой день проходящий мимо немец просто так, для забавы, пристрелил Миколиного Полкана, а заодно и соседского Тараску, которого недоброе любопытство подтолкнуло в этот момент выглянуть из-за плетня.

Покривил, видимо, душой отец — куда страшнее волка оказались фашисты. Микола возненавидел их так, что сам удивился, насколько он сильно может ненавидеть. И почти так же боялся немцев — вздрагивая от случайных шагов за окном, от стука калитки, от скрипа половицы.

Он никуда не ходил. Целыми днями сидел забившись

в угол, под божницу, как звереныш, и молчаливо вынашивал в голове самые кровожадные планы мести. Мать с испугом приглядывалась к нему, но тоже помалкивала, не меньше сына оглушенная, выбитая из колеи происходящим в селе.

Однажды в дом к ним пришел длинный, носатый, но веселый немец в продавленной седлом фуражке и скрипучих, как старые половицы, сапогах.

— Курка? Яйка! — не то спросил не то потребовал он.

Мать беспомощно развела руками.

— Откуда курка? Все забрали уже подчистую...

— Гольд маешь, матка? — путая немецкие и польские слова, сказал офицер и для наглядности потер большой и указательный пальцы. — Зо-лё-то! — по слогам пояснил он.

— Отродясь его не было! Нету! — затрясла головой мать.

Немец помотал перед ее носом сухим, похожим на петушиный коготь пальцем. Весело посвистывая, оглядел комнату. Взгляд его остановился на застекленной фотографии отца.

— Кто есть этот?

— Муж мой, — ответила мать.

— Зольдат?

—Кто нынче не солдат! Ты вон тоже в мундире...

— Но-но-но! — офицер снова помотал пальцем. — Хальб мунд, матка, закрить рот! Бах-бах буду, шиссен, ферштеест ду? Понимайт? Кто есть муж? Коммунист?

— Поди у него спроси, коли такой прыткий, — обиженно буркнула мать.

Офицер не понял:

— Притки? Что есть притки?

Не дождавшись ответа, снова посмотрел на отцовскую фотографию и решил:

— Дас ист коммунист. Комиссар.

Микола ие заметил, откуда в руке немца появился пистолет. Одии за другим грохиули несколько выстрелов — оглушнтельных в маленькой комнатушке. Зазвенели осколки раздробленного стекла. Мнколе казалось, что они впиваются в его тело.

— Что делаешь, изверг! — вскинулась мать.

Она метнулась мнмо немца к стене, чтобы снять с нее простреленный портрет мужа, не дать чужаку дальше нздеваться иад иим. Офнцер то лн не понял ее движення, то лн, продолжая разыгрывать комедию, сделал вид, что ие понял. Испуганно округлнв глаза, он опустил ствол парабеллума и дважды выстрелнл в упор. Мать со всего маху, как подрублениая, ударнлась об пол.

Мнкола пронзнтельно и дико закричал, захлебнулся рыданиями, кинулся к выходу. Споткнувшись иа пороге, упал, кубарем скатился по приступкам во двор. Не в снлах подняться, ои плакал в голос от смертельной тоски и полз иа четвереньках к густым зарослям лебеды у сарая.

А сзадн хохотал, улюлюкал и стрелял вслед немец. Ои от души забавлялся — пули взбивали султанчики пыли перед самым лицом Миколы.

Отлежавшись в бурьяне до темиоты, Мнкола пробрался к лесу и долго, пока хватило дхаиия, бежал, сам не зная куда, ударяясь о стволы деревьев, в кровь раздирая ветвями лицо и руки. На рассвете, совершенно обессилевшего, его подобрала партнзанская разведка.

Партизаны выходили найденыша — отпоили его козьим молоком, откормили соленой рыбой. Физически Микола оправнлся довольно быстро, но пережитое оставило слишком глубокий след в душе. При одном упомииании о иемцах мальчоику трясло как в лихорадке, он ие мог сдержать слез. Партизаиы, которым была известна история найденыша, утешали его, как умели, втихомолку стискивая кулакн и поминая фашистов и всю их родню до седьмого колена.

Постепенно Микола пришел в себя. Но иа лице его никто ие видел улыбки. Ои молчаливо принимал ласку свонх новых друзей, чувствовалось, что ои платнт им ответной привязаниостью. Одиако виешне это иикак ие проявлялось — замкиутый, сосредоточенный, ушедшнй в себя, Мнкола жил, казалось, лишь ему одному ведомой мыслью.

— Что ты ходншь как бирюк? — пыталнсь расшевелить его партнзаиы. — Гляди веселее, хлопец: будет праздннк н на иашей улице!

В ответ он улыбался скупо, иеохотио, только чтобы не обидеть своих друзей. И улыбка гасла быстрее, чем появлялась...

Идя иа соединенне с частями иаступающей Советской Армнн, партнзаны предприиялн большой рейд: ночью с тыла ударнли по родному селу Миколы. Схватка была короткой, но жаркой. Напуганные победоиосным наступленнем советскнх войск немцы жнли в постояииом ожиданни нападення, поэтому внезапиой атаки ие получалось. Но партнзаиы обрушнлись на фашистов с такой яростью, что те, иесмотря иа превосходство в живой силе и техинке, несмотря иа тщательно продуманную оборону, не выдержали иатиска.

Утром Микола, вооружеиный большой суковатой палкой, ходил по селу и виимательно присматривался к трупам фашистов. Миого их было вокруг, зелеиых и серых бесформениых холмиков, в самых разнообразных позах. Тех, что лежали иичком, Микола шевелил своей палкой, заглядывал в мертвые лица. Но того офицера, который убил мать, не было — видио, успел удрать, не настигла его партизаиская пуля.

Тогда мальчнк пошел к своей хате. Она безжнзнеиио зияла разбитыми окиамн, проемом сорваииой с петель двери. И плетеиь был весь порушен, лишь кое-где сирот-

ливо торчали одинокие колья — все пошло на растопку немецкой кухни.

Постояв у порога, Микола несмело шагнул в сенцы и оттуда — в хату. Он боялся и страстно жаждал увидеть мать. Но ее, конечно, не было — похоронили чьи-то добрые руки. Лишь темное пятно на полу чуть просвечивало сквозь толстый слой пыли.

Микола проглотил клокотавшее в горле рыдание. Подошел к стене, снял косо висящий портрет отца, осторожно выбрал из рамки колючие остатки стекла. Посередине лба портрета, в глазах, на подбородке чернели пулевые пробоины. Он перевернул портрет, расправил и загладил края отверстий. Потом что-то поискал глазами по сторонам.

На полу валялся листок бумаги. Мальчик потянулся было к нему, но увидел немецкие буквы и не стал поднимать. Пошарив по избе, он нашел свой старенький букварь. С внезапно пробудившимся интересом полистал его. От пыльных страниц пахнуло детством, таким близким и в то же время таким далеким, словно это было не его, Миколино, а чье-то чужое, выдуманное детство.

Микола аккуратно вырвал последнюю, чистую страницу букваря. Достав из кармана кусочек подсохшего хлеба, долго жевал его, потом хлебным мякишем и клочками бумаги он заклеил пробоины на фотографии отца. Подумав, вынул портрет из рамки, спрятал его на груди, под рубаху, и пошел прочь, не оглядываясь.

Через несколько дней в село вошли регулярные части Советской Армии.

— Ну вот, Микола, скоро прощаться будем, — говорили мальчику партизаны. — Мы солдатами станем, дальше фашистов погоним, а ты со стариками и бабами останешься хозяйство восстанавливать.

— Не хочу со стариками! — сердито отмахивался парнишка. — Я тоже в солдаты пойду!

— Пойдешь, когда летами выйдешь, а пока больно молод ты для солдата.

Поняв, что партизаны не шутят, Микола христом-богом стал упрашивать их не бросать его, взять с собой. У него прыгали губы и глаза были полны недетского отчаяния. Партизаны смущенно оправдывались, что не имеют на это права. Кто-то из них в шутку посоветовал Миколе обратиться к командиру полка. Мальчик немедленно помчался разыскивать штаб.

В штабе его встретил замполит — немолодой усталый человек с майорскими погонами. Выслушав мальчика, он отрицательно покачал головой.

— Нельзя, хлопчик. Война — не игрушка. Ступай домой, а то тебя небось уже мамка ищет.

— Нет... у меня... мамки... — прерывисто вздохнул Микола и замолчал, боясь расплакаться.

Пристально посмотрев на него, майор вышел из-за стола, сел на лавку, притянул к себе парнишку.

— Давай-ка, хлопчик, рассказывай все...

И Микола, ничего не утаивая, поведал свою историю. Он все время ощущал на своем плече добрую тяжесть майорской руки, и оттого как-то легче становилось на сердце, слова шли сами собой. Он рассказал даже о своем страхе перед немцами и тут же испугался, что после этого майор нипочем не согласится взять его в полк. Но в усталых глазах замполита не было осуждения, только гнев и боль прятались в их глубине.

— Значит, хочешь того фашиста отыскать? — спросил он, когда Микола замолчал.

— Да, — ответил Микола.

— Немцев не боишься?

— Нет!

И по тому, каким тоном это было сказано, замполит понял, что мальчик действительно их уже не боится.

— Что же, — сказал майор задумчиво, как бы про себя,— они жнут, что посеяли, а посеяли они страшные

семеиа. — Ои подошел к открытому окну н окликиул проходившего мнмо старшииу: — Хекимов, иа минутку вас! — И когда старшииа подошел, он указал иа Миколу: — Вот этого молодого товарища определите на ротиую кухию... иу, хотя бы к Захарову в помощиики. А там — посмотрим, время покажет.

Старшииа козыриул и добродушио сказал Миколе:

— Пошли, солдат, иа боевые позицнн!..

...Микола чистил картошку н улыбался. Ои аккуратно выскребал коичиком своего десантиого книжала каждый глазок н тихо опускал картофелины в ведро, боялся, чтобы ие брызнуло случайио на новенькое обмундироваиие.

Одна его заветная мечта сбылась. Осталось сбыться другой — получнть автомат. Мальчик был увереи, что обязательио настаиет день, когда старшина Хекимов вручнт ему боевое оружие. И еслн бы ои узнал, что старшина сейчас думает о прямо противоположиом, то, вероятно, смертельно обиделся бы иа своего большого друга и покровителя.

Но он не знал этого — н был совершеиио счастлив.

СТАРИКИ

«Двадцать седьмого женится Платон. Приезжай на свадьбу. Ждем. Максименко».

Кадыр Шаиепесов несколько раз перечитал телеграмму и, сложив ее вчетверо, бережно положил в иагрудный кармаи пиджака. И сразу — вои из головы все иынешнее, будничиое, суетиое; отодвииулось куда-то в стороиу. Будто младшего сына ие кто-то другой, пусть самый лучший друг, женить собрался, а ои, Кадыр. Разволиовался,

засновал бесцельно из комнаты в комнату, перенося мелкие вещи с места на место. Благо в этот ранний час он дома оказался один — переполошил бы домашнихне на шутку.

«Значит, младшенького, Платона, Василий Никитич женить собрался... Так, так... Дело вроде житейское, а не простое. Ой как не простое! Свадьба раз бывает, а потому и быть должна на славу. Все это забот и хлопот известных стоит... Значит, Платон женится... Дождался, значит, Василий Никитич. Это же замечательно, дорогой мой товарищ майор Максименко! Дожили-таки! Не только выжили, но и дожили до радостных дней! Приеду! Обязательно приеду, куда я денусь... Не смогу не приехать».

Схватки с басмачами не прекращались и ночью. Враг оказывал упорное сопротивление, сдерживая атаки красноармейцев. Выбывали из строя бойцы, падали кони. Назревал переломный штурм. И басмачи, не выдержав яростного натиска, стали отступать в глубь песков. Красноармейцы ринулись за ними, на ходу выбивая басмачей из седел. Тут главное — не отстать самим и не дать остановиться противнику. Эту истину красноармеец Максименко проверил на практике. Разгоряченный боем и погоней, летел в первых рядах преследующих... Только что летел, а теперь — с тоской и отчаянием глядит, как исчезают с глаз последние конники, его товарищи, в азарте забывшие обо всем на белом свете.

Он лежал на песке, истекая кровью. У него не было сил ни подняться, ни крикнуть. Вместе с кровью из него уходили силы. Его мучила жажда. Поднявшийся ветер начал засыпать его тело песком. Собрав последние силы, Максименко приподнялся на руках и огляделся. Во всей бескрайней пустыне он был один.

«Это — конец...» — было последней ясной мыслью.

Потом к нему бежала, распустив по ветру волосы и широко раскинув руки, жеищииа. Бежала и кричала: «Вася, Вася!..» Это была Таия, его жеиа. Оиа бежала со всех сил н — не приближалась. Ои зиал, почему она ие прнблнжалась, — надо было отозваться, а подать голос у него не было сил. Свой крик ои слышал только сам. Безмолвный крик. Сжимая в кулаках песок, он бился, прощаясь с жизиью. Тело засыпал песок, делая его последиее пристаиище иа земле иеприметиым. Этого ои боялся больше самой смерти...

Набревший на иего пастух собрался было воздать должное памяти закоичившей путь жизни, как услышал протяжиый стон... и начал лихорадочио разгребать песок вокруг полузасыпаниого тела.

Боец прииял глоток воды из его фляги. Пастух достал из вещмешка свежую рубаху и, отодрав две полосы по подолу, туг перетянул сочащуюся раиу иа груди раненого.

Макснмеико пришел в сознание.

— Кто ты, хлопчик?

— Чабаи. Кадыр, сыи Шаиепеса. А ты кто?

— Красиоармеец. Максимеико. Василий Ннкитич.

— Васыл Магсым, — как эхо повторил пастух.

— Слушай, Кадыр, сыи Шаиепеса...

Пастух предостерегающе подиял обе рукн.

— Тебе иельзя разговаривать. Главиое, ие свались по дороге. — Он приподнял бойца и взвалил себе иа спииу. — Тут иедалеко чабаиский кош. Есть горячий чай и свежая шурпа. Потерпи, Васыл Магсым...

Комаидир батальона был еще в расположеиии первой роты, а беспроволочиый солдатский телеграф возвестил об этом бойцам третьей роты. Бойцы любили своего комбата. Не спуская глаз с позиций фашистов, прииялись охорашиваться и иаводить иа своих огиевых точках поря-

док. Полетели за бруствер банки из-под консервов, обертки от галет, окурки. Вторые номера прошлись тряпочкой по казенной части пулеметов...

— Рота, смирно!

— Вольно! — В проеме траншеи показался офицер в майорских погонах, с каской на голове и автоматом. — Вольно, товарищ старший лейтенант. Обстановка мне известна. Зашел познакомиться с пополнением. Что за орлы?

— Боевой народ, товарищ майор! — Командир роты не скрывал своего удовлетворения. — Отличные ребята! Прибыли прямо из госпиталей после излечения. Имеют ордена и медали. Воюют с понятием.

Майор двинулся по траншее, отличая новичков, знакомясь, крепко пожимал им руки, шутил, подбадривал скорой победой, объяснял предстоящую задачу. Бойцы из пополнения с достоинством и на равных беседовали с комбатом. Ветераны, они были равны...

Комбат остановился перед широкоплечим, черноглазым сержантом и вопросительно глянул в лицо. А тот отрапортовал:

— Сержант Кадыр Шанепесов, товарищ майор!

Брови майора дрогнули.

— Не понял.

— Сержант Кадыр Шанепесов, товарищ майор!

Максименко широко раскинул руки и шагнул к сержанту, обнял его и троекратно расцеловал:

— А я — Максименко Василий Никитич... Вот так встреча, а? — Майор оглянулся, приглашая присутствующих в свидетели. — Знакомьтесь, друзья, — мой спаситель, каракумский чабан Кадыр, сын Шанепеса!

Кадыр Шанепесов вглядывался в лицо комбата, пытаясь узнать в нем умиравшего молодого красноармейца. Узнавались одни глаза. Они по-прежнему оставались серыми, быстрыми, с характерным внимательным прищу-

ром. Из того красноармейца обязательно должен был получиться командир...

Они долго стояли бы, обнявшись и разглядывая друг друга, если бы не завыло, не застонало небо над их головами. Фашисты открыли ураганный огонь из пушек и минометов. В траншее засвистели осколки, на плечи и спины посыпалась земля. После артподготовки прилетели вражеские самолеты. От бомб прятаться было сложнее. Прямыми попаданиями разбрасывало накаты блиндажей и укрытий.

Посчитав дело законченным, противник перешел в наступление. На позиции батальона шли танки и бежала пехота.

Захлопали бронебойные ружья, полетели связки гранат.

То там, то тут танки останавливались, горели, но остальные упрямо шли вперед. Велика, видимо, была вера фашистов в конечный результат артподготовки и бомбового удара.

Несколько фашистов спрыгнули в траншею. Завязалась рукопашная. Пошли в дело приклады и штыки.

Сержант Шанепесов и майор Максименко вели огонь с того места, где их застал бой. Сатанинская интенсивность огня противника вначале буквально не давала поднять головы, сдвинуться с места, отражая атаку.

Они бок о бок стреляли из автоматов и швыряли гранаты, а когда гитлеровцы ворвались в траншею, бросились в рукопашную.

За спиной майора появился фашист, вскинул автомат, целясь. Стрелять в него было уже поздно. Сержант молча рванул майора за плечи и заслонил его своим телом. Простучала очередь.

Шанепесов, обливаясь кровью, опустился на дно тран-

шеи. Фрица пристрелили. Майор, отбросив автомат, подхватил сержанта на руки.

— Браток, браток... Саннтара!.. Дорогой ты мой, как же так?.. Зачем?.. Санитара!

Прибежавший санинструктор осмотрел раны сержанта и принялся их обрабатывать.

— Жить будет? — спросил комбат.

— Буду, товарнщ майор. — Сержант открыл глаза и улыбнулся бескровными губами. — Жаль только — отвоевался. Скоро войне конец.

— Да, дорогой ты мой! Дожить до победы — это тоже победа! — Комбат наклоннлся к сержанту и поцеловал его. — Поправляйся. И будь здоров. Санитар, раненого в машиину!

Сержант движеннем руки остановил санитара.

— Берегите себя, Василий Ннкитич. Нас, выживших в этой войне, остается так мало. И нам друг без друга никак иельзя.

— Нельзя. — Майор выпрямился и закинул на плечо ремень автомата...

Шанепесов приехал за два дня до срока. Заиятые приготовлением к хлебосольной украинской свадьбе, Максименкн тем ие менее нн на минуту не оставляли туркменского гостя без вниманця. Показывали достопримечательности, знакомили с родственниками и соседями.

По-старнковски беспокойный, Шанепесов едва дождался прнхода младшего Максименко с работы.

— Платон, сынок, раз у вас дело сладнлось, сходи и приведи сюда свою Светлану. Это очень важно.

Платон вопроснтельно посмотрел иа отца.

— Сходи! — согласился со своим другом Василий Никитич, поияв важиость просьбы гостя.

Вскоре, смущаясь, в дом вошли Платон и Светлана. Кадыр обнял обоих и расцеловал.

— Будьте дружны, живите счастливо, любите своих родителей и растите детей. А теперь... — Шанепесов открыл свой чемодан и извлек из него платье из кетени и зеленый шерстяной платок. — Тебе, дочка, носи на здоровье!.. А ну-ка, джигит, подойди ко мне. — Он набросил Платону на плечи гырмызы дон — красный шелковый халат, а на голову надел белоснежный тельпек [1]. — Чем не туркмен? Вот так!

Молодые, оправив одежды, изумленно разглядывали друг друга — необыкновенный наряд был очень красив. Соседи трогали подарки руками и не скрывали своего восхищения:

— Платон, Света! Вот это да!

Старший Максименко насупился.

— Зачем было так много везти дорогих подарков? Велика ли твоя пенсия?

Шанепесов улыбнулся.

— Велика... Сын моего старшего брата — мой младший брат, а невестка моего старшего брата — и моя невестка. А поэтому, дорогой мой Василий Никитич, прошу разговорчики отставить! Главное, наряд мой пришелся молодым по душе...

За свадебным столом Василий Никитич, волнуясь, держал речь:

— На свадьбу приехал и мой туркменский брат Кадыр Шанепесов... Мы теперь с ним старики, а побратались, когда нам было не больше чем сейчас Платону... Мать дала мне одну жизнь. А мой туркменский брат Кадыр Шанепесов дважды спасал ее. А значит — и жизнь нашего жениха, моего сына Платона! Вот о чем хотел бы сказать я вам, люди!..

---

[1] Тельпек — туркменский головной убор.

Конечно, они много знали об этой земле. Кино, телевидение, книги, радио — все это сближает народы, делает близкими даже самые дальние страны. А Туркмения от Украины не так уж и далека...

— Я был совсем ребенком, — рассказывал в автобусе молодой человек, — нас эвакуировали сюда из Харькова. Мы с мамой жили в маленьком городке. Но я ничего не помню, — только много-много солнца и вечно голубое небо над головой. После бомбежек это как-то особенно действовало...

Автобус бежал по асфальтовому шоссе мимо колхозных виноградников, мимо белых домиков с плоскими крышами, мимо бахчей, с которых уже собрали урожай.

— Да, солнца здесь хватает, — подтвердил седой мужчина в светлом пыльнике. — Октябрь на исходе, а на небе ни облачка.

Он смотрел в окно, поглаживая густые, тронутые сединой усы, какие любили отращивать фронтовики. И вообще во всей его крупной подтянутой фигуре, в манере держаться угадывался бывший военный, кадровый офицер.

— А вы тут в гражданскую не воевали случаем? — поинтересовался юноша.

Мужчина взглянул на него с прищуром и усмехнулся:

— Случаем — нет. Мне в те годы поменьше вашего было, молодой человек. А я вам совсем стариком кажусь?

Юноша смутился.

— Да нет, что вы, я так...

— А вот в Отечественную я вместе с дружком-туркменом воевал, — сказал мужчина и снял кепку, словно вдруг жарко стало ему; врывающийся в окно встречный ветер стал трепать его белые волосы, и он приглаживал их ладонью, сильной и крепкой, как у крестьянина или

рабочего. — Ох, и лихой был парень. Разведчик. Не раз за «языком» ходил, немцев приводил с той стороны. А уж если бой — так и загорался весь! Словом — настоящий воин, джигит.

Он вдруг замолчал, надел кепку и стал пристально смотреть в окно. И хотя в автобусе долго было тихо — все ждали продолжения рассказа, — он так и не промолвил больше ни слова.

Со стороны могло показаться, что человек этот увлечен раскрывающимся перед ними пейзажем, но он почти не видел ничего, — память, словно морская волна, захлестнула его, увлекла с собой в прошлое, далекое и вечно живущее в душе...

Старший лейтенант Шалара Алланов выделялся среди офицеров полка — и не только потому, что командовал взводом разведки, а разведчики всегда были на особом счету и пользовались недоступными для других льготами, а еще и своей особой выправкой, легкой танцующей походкой, смуглостью сухого мужественного лица, на котором так и горели внутренним огнем большие темные глаза. Если он шел, позванивая шпорами, закинув голову, туго перепоясанный широким ремнем в тонкой талии, то на него оглядывались не только женщины, но и весь военный люд, — так он был красив. И красота его была непривычной — словно вышел Шалар из восточной сказки и форму надел, чтобы не очень-то выделяться среди однополчан.

— А ты, Шалар, прямо-таки для войны создан, — сказал ему как-то в шутку Натан Харченко. — Не представляю, что ты после победы делать будешь. Разве только джигитовкой займешься и в цирке станешь выступать.

Шалар, всегда отзывчивый на шутку, сам насмешник и хохотун, против обыкновения встретил эти слова всерьез.

— Знаешь, Натан, — сказал он задумчиво, — мне и самому порой жутковато становится. Вот кончится война,

приеду в свой колхоз, опять стану каракульских овец разводить... Так я пропаду от тоски! Как это у вас говорится? Молодец среди овец...

Он чертил прутиком по земле, и в голосе его Натану послышалась настоящая печаль.

— А ты оставайся в армии, — тоже посерьезнел Натан. — И после войны боевые офицеры нужны будут.

— Нет, не то,— вздохнул Алланов и в сердцах отбросил прутик.— Я уже думал об этом. Нет, надо возвращаться в колхоз, там у меня все — родные, невеста...

Натан понимал его — Шалар пришел на фронт совсем мальчишкой, армия воспитала его, здесь он возмужал, стал взрослым, сросся с армейскими порядками, со своей разведкой. Иной жизни, кроме военной, фронтовой, он не представлял. А ей, судя по всему, приходил конец — фашисты катились к границам Германии, час победы был близок.

— Ничего, друг, — сказал он, успокаивая Шалара, — я ведь тоже до войны еще настоящей жизни не нюхал, со студенческой скамьи в армию пошел. Будем начинать жизнь сначала, а это не так уж и плохо — мирную жизнь-то будем начинать! — Но Шалар все так же угрюмо смотрел себе под ноги на замысловатые узоры, оставленные прутиком, и молчал; тогда Натан сказал: — А потом, и в мирное время можно жить по-разному. Есть ведь и трудовые ордена.

Шалар вскинул на него свои большие горячие глаза.

— А я тебе другое скажу:

Страшный бой идет, кровавый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

В те дни «Василий Теркин» был очень популярен среди фронтовиков, и Натан сразу вспомнил эти строки.

— Так я не в том смысле, — возразил он, — я не про

славу, про подвиг. И как раз «ради жизни на земле» — только в мирное время.

— Нет, не то, — покачал головой Шалар. — Молодец среди овец — какой тут подвиг?

Разговор тот запомнился Натану. Он много думал о судьбе парней, которых опалила война и которым трудно — ох как трудно будет перестраиваться на мирный лад, на жизнь «в граждатке»...

— А что ж, ваш друг и сейчас жив? — спросил юноша, и Натан Тарасович не сразу понял, что вопрос обращен к нему. Он огляпулся, медленно возвращаясь к действительности.

— Тот мой друг? — переспросил он. — Наверное, жив. Что ему сделается? Войну живым закончил, а профессия у него самая безопасная — животновод. Каракульских овец разводит. Слышали про знаменитый «сур»?

Пассажиры оживились, послышались восторженные голоса:

— На весь мир славится!

— Я в Ленинграде на пушном аукционе был — туркменский каракуль с руками рвут.

— Да, это вещь!

Девушка из экскурсионного бюро, сопровождавшая туристов, поднесла к губам микрофон и сказала, заглушая голоса:

— Внимание, товарищи! Наш автобус приближается к колхозу «Шатлык», что в переводе с туркменского значит «Радость». Здесь мы познакомимся с жизнью и трудом колхозников, их достижениями...

Она говорила привычные, не раз уже говоренные слова, а автобус, свернув с шоссе, медленно покатился по проселочной дороге под арку с надписью «Хош гелдиниз!» — «Добро пожаловать!».

Украинские туристы осматривали колхозный поселок, птицеферму, детский комбинат, больницу, школу. Натан Тарасович ходил вместе со всеми, слушал объяснения

председателя колхоза и все вглядывался в лица встречных колхозников, особенно пожилых. Он корил себя: «Ну, чего суетишься, чего ждешь? Ведь адрес Шалара неизвестен, да и каким он стал теперь? Может, и не узнаешь при встрече, пройдешь мимо. Столько лет позади!» Он пытался убедить себя в том, что поехал в Туркмению просто из любопытства, посмотреть, как люди живут, земляки фронтового друга, но обмануть себя не мог — в душе, как только узнал в профкоме своего научно-исследовательского института про путевку, сразу вспыхнула надежда: а чем черт не шутит, гора с горой, говорят, не сходится, а человек с человеком...

Они вошли в просторный вестибюль Дома культуры. Вдоль стен висели большие портреты знатных людей — молодые и старые лица, мужчины, женщины. Натан скользнул по ним взглядом, думая о том, что фотография никогда не передаст особенностей живого лица, что только кисть художника способна уловить... Мысль так и осталась неоконченной, не додуманной до конца: с фотографии на него смотрел Шалар Алланов. Он почти не изменился — все те же горящие большие глаза, смелый поворот головы, затаенная улыбка в углах тонких губ...

Группа уходила дальше, передние уже поднимались по широкой лестнице на второй этаж, а Натан все стоял у портрета. Только сейчас он догадался подойти поближе и прочитать подпись. Туркменского языка он не знал, но фамилию — Алланов Шалар — и еще одно слово — ферма — он увидел сразу, и сердце забилось радостно. Значит, так и есть — работает на ферме, может быть, даже заведует. Это хорошо. Среди знатных людей колхоза. Вот тебе и молодец среди овец. Нашел свое место друг Шалар.

Он смотрел на фотографию и не замечал, что улыбается.

Потом он совсем по-молодому взбежал по лестнице наверх и догнал группу. На него оглянулись удивленно,

но он ничего не сказал, только повторял про себя: «Нашел, нашел, нашел...»

Теперь он твердо знал, что скоро увидит друга, что с группой не вернется в город, а останется здесь, в колхозе, и будут они ворошить прошлое, выпьют по чарке и взгрустнут, вспомнив погибших, и снова начнут улыбаться и хлопать друг друга по плечу, удивляться и радоваться...

Закончив осмотр, гости расположились в тени высокой чинары на ярком ковре, где посередине на расписных подносах лежали ароматные ломти дыни.

— Угощайтесь, отведайте «вахарман», — приветливо улыбаясь, сказал председатель. — Очень вкусная дыня. Говорят, кто «вахарман» попробовал, тот обязательно еще в Туркменистан приедет.

Туристы тоже улыбались, осторожно брали ломти, стесняясь поначалу, но, попробовав, уже забывали обо всем — так ароматен был этот колхозный подарок, так сладок, что оторваться было не в силах.

— О! — только и могли вымолвить приехавшие. — О!

Натан Тарасович тоже пробовал дыню, но как-то не очень разобрал вкус, — в душе, заслонив все, по-прежнему жило радостное возбуждение, ощущение близости долгожданной встречи.

К ним подходили колхозники, здоровались за руку со всеми, присаживались, спрашивали о здоровье, улыбались, как улыбаются добрые хозяева, когда видят, что гости довольны. Многих из них Натан Тарасович узнавал — их лица видел он рядом с Шаларом в галерее Почета, и от этого еще сильнее билось седце — вот сейчас появится сам Шалар, и все, как тогда в полку, будут смотреть на него и любоваться им...

Только однажды он видел Шалара иным...

На его участке ждали возвращения разведчиков. Приехал офицер из штаба полка и все курил папиросу за папиросой, потому что время возвращения давно прошло,

а сведения нужны были позарез, но разведчиков не было, и никто не знал, что думать.

Из окопа видно было, как на той стороне поля, где окопались немцы, время от времени взлетали осветительные ракеты, и тогда все пространство ничейной земли, изрытой снарядами, просматривалось очень хорошо. В такие минуты штабной офицер с надеждой вглядывался в ночь.

— Люди Алланова должны вернуться? — спросил Натан, хотя знал, что спрашивать об этом не подобает, да и сам Шалар был бы, пожалуй, здесь, обязательно был бы.

Штабной офицер покачал головой.

— Самого ждем.

— Старшего лейтенанта Алланова?

Офицер присел и снова затянулся.

— Да, верно, не дождемся, — вместо ответа сказал он.

При свете папиросы видно было, как нервно барабанит он пальцами по колену. И тут с правого фланга передали, что видят ползущих людей.

Харченко едва поспевал за штабным офицером. Они прибежали на место по ходу сообщения, когда разведчики уже переваливались через бруствер и сползали в окоп.

— Где старший лейтенант? — спросил офицер из штаба.

— Здесь я, — тяжело дыша, хрипло ответил Шалар.— Все вернулись. Посмотрите «языка» — не задохся бы.

Он откинулся на стенку окопа и вытер лицо рукавом.

— Привет, Натан, — сказал он, слабо улыбаясь.

И вдруг стал валиться на бок...

— Фашист проклятый стукнул старшего лейтенанта, когда брали его, — сказал один из разведчиков. — Здоровый дядька. Доктора надо бы.

Шалара подняли и понесли.

А через два дня, когда наши взяли немецкий городок, у которого задержала их фашистская оборона, Натан

встретил Шалара на улице. Тот выглядел так, словно ничего не произошло. Широко улыбнулся другу, потряс руку.

— Это на твоем участке мы переходили? — спросил он. — А то я что-то плохо помню. Спать очень хотел, намаялся на прогулке...

«А где же он сейчас?» Натан крутил головой, пытался угадать, откуда он придет. И вдруг услышал:

— Тяжелая, очень тяжелая была зима, — говорил председатель. — Старики и не припомнят такой. Сибирь! Зоотехник у нас погиб. Когда заносы начались, он с первой машиной стал пробираться к отдаленным пастбищам, на помощь к чабанам. Пробился. А тут такая вьюга началась!.. Вместе с чабанами спасал овец... Всех спасли. А сам он замерз. Только на вторые сутки нашли.

У Натана защемило сердце. Он еще не верил, но дурное предчувствие тошнотой подкатило к горлу. Потребовалось время, прежде чем он справился с собой и смог спросить:

— А как... как звали его?

— Это был хороший человек, — ответил председатель. — Фронтовик. Он и тут действовал по-фронтовому. Алланов его фамилия.

— Шалар? — вскрикнул Харченко, и голос его сорвался.

Люди удивленно повернулись к нему. А он, не замечая взглядов, поднялся и пошел по аллее сада, чувствуя, как колотится кровь в висках.

Председатель догнал его, взял под руку, спросил тревожно, вглядываясь в потемневшее лицо:

— Что с вами? Вам плохо?

Натан Тарасович остановился.

— Простите, — сказал он тихо. — Я так ждал встречи с ним... Мы воевали вместе. Я увидел его фотографию в клубе и ждал...

Пыльник распахнулся на его груди, и председатель с уважением посмотрел на тускло блеснувшую Золотую Звезду Героя Социалистического Труда на лацкане пиджака гостя.

— Пойдемте назад, — сказал Харченко.— Не надо омрачать праздник людям. Знаете, какие стихи любил Шалар на фронте? Про смертный бой не ради славы — ради жизни на земле!

ГДЕ ЖЕ ТЫ, ЗОЯ?

За окном хмурился холодный февральский день. В отсыревших за зиму углах кабинета стоял зябкий полумрак, протопленная с утра печь-голландка уже не источала тепла на расстояние вытянутой руки.

Почувствовав обволакивающий тело озноб, Ата Нурыев оторвался от бумаг, оглядел стены кабинета и встал из-за стола. Прошел к вешалке, снял свое теплое пальто и набросил его на плечи, придерживая полы одной рукой. И все равно что-то было не так. Тусклый день за окном странным образом воздействовал на настроение.

Нурыев щелкнул выключателем, под потолком вспыхнул свет, и вроде стало как-то теплее.

«Вот так-то!»— удовлетворенно подумал Нурыев...

В дверь кабинета постучали.

— Входите. — Нурыев поднял голову, несколько удивленный — свои к нему обычно входили без стука.

Через порог переступила великолепная молодая женщина. С мороза молодые женщины обязательно великолепны, особенно голубоглазые и светловолосые. Один румянец чего стоит! Кроме всего прочего она была одета современно и недорого. Элегантно и добротно — так бы сказал Нурыев, отмечая зажатые в бледной руке мягкие перчатки.

— Здравствуйте, Ата Нурыевич!

Нурыев встал и указал на свободное кресло.

— Здравствуйте, здравствуйте!.. Проходите, садитесь!

— Спасибо, Ата Нурыевич.— Женщина, расстегнув полы пальто, удобно расположилась в предложенном кресле. Извиняющаяся улыбка не сходила с ее тонких губ. — Вы меня простите за беспокойство, но именно вы нам нужны... Дело в том, что мы знаем о том, что вы фронтовик, прошли войну от начала до конца. Смело сражались на полях Украины, под Сталинградом, на Курской дуге, Калининском фронте, в Белоруссии, Прибалтике, Польше, Германии... Можно сказать — я осведомлена о вашем боевом пути в главных его вехах. А он очень интересен, сложен и поучителен... Вы ведь начинали военную службу рядовым солдатом, а закончили ее старшим офицером...

Нурыев слушал женщину, пристально разглядывая ее, и все более изумлялся. Не ее словам, а тому, что, чем дольше он на нее смотрел, тем больше знакомого находил в чертах ее лица. Улыбка, манера говорить, движения рук — все было уже однажды виденным. Но самое главное — теми же были глаза, губы, шея, пальцы, волосы...

«Что такое?...» Неужели она, Зоя?... Да нет, не может быть... Зоя, конечно, уже состарилась... Но сходство! Или, может быть, это все-таки Зоя, сумевшая сохранить молодость?»

— Откуда у вас столько сведений обо мне? Уж не старые ли мы с вами знакомые? — обескураженно, с оттенком робкой надежды в голосе, спросил Нурыев.

— Нет, к сожалению. Мы с вами видимся впервые, но знаю я о вас многое. — Женщина положила в сумочку поразившие Нурыева перчатки.— А сведения о вас я получила в военном комиссариате. Именно там мне и порекомендовали вас.

— Вот оно что!.. — Нурыев несколько разочарован-

но покачал головой. — Впрочем, все верно, все так и должно быть... Скажите, вы не украинка?

— Наполовину. По отцу.

— Я сразу понял, что в вас течет украинская кровь. Вы так похожи... похожи на Зою.

— Простите, на какую Зою?

Нурыев, будто спохватившись, коротко глянул на женщину.

— Я никогда и никому не рассказывал об этом. У каждого есть свои тайны, о которых не говорят. Да тайна — это совсем не то слово. Просто это нечто сокровенное, чем не принято делиться. И я об этом никогда никому... А вам расскажу. Но я забыл спросить: захотите ли вы слушать?

— Конечно! — Женщина приложила руку к груди.

— Зовут-то вас как? А то что-то мы дипломатично...

— Я и не представилась. Зовут меня Надеждой Кондратьевной. Девичья фамилия Марченко, а по мужу — Павлова. У меня двое детей.

— Ну а что привело вас ко мне?

— Я учительница, Ата Нурыевич. Приближается День Советской Армии. У нас в школе по этому поводу готовятся сбор, торжественная линейка, рапорт представителям сегодняшней армии и ветеранам. Мне поручено организовать встречу. Так я к вам... Дети ведь любят встречи с фронтовиками, для них война — история, потому у них к живым ее свидетелям столько вопросов и столько интереса.

— Ах, почему вы не пришли ко мне с приглашением, когда сами были еще не замужем, дорогая Надежда Кондратьевна! — неожиданно весело рассмеялся Нурыев. — Мне не пришлось бы тогда из конца в конец колесить по всей Украине в поисках Зои Сергиенко. Я нашел бы ее здесь...

— Вы меня интригуете, Ата Нурыевич! — Павлова в тон Нурыеву рассмеялась. — И я уже так просто не уй-

ду от вас, пока не узнаю всего о вашей загадочной Зое. Только обещайте мне, что вы непременно примете наше приглашение.

— Обещаю. Об этом не может быть и речи... А Зоя... — Нурыев еще раз пристально заглянул в глаза Павловой, затем выдвинул ящик письменного стола и достал плитку шоколада. — Я сейчас заварю чаю, а то вы совсем замерзнете у меня... Вы очень похожи на Зою. Есть такое выражение — как две капли воды. Возможно, я сгущаю краски, слишком идеализирую, отождествляя вас с Зоей — с сорок пятого года воды утекло много, я мог просто-напросто забыть, как выглядит она. Правда, все эти годы я старался сохранять ее облик в памяти таким, каким он мне запомнился в ту единственную нашу встречу. Единственную и короткую, как вспышка молнии... Я благодарен вам за ваш приход. Он — как дар судьбы мне, нежданный ее подарок. А судьба в общем-то так неласково обошлась почему-то со мной. Пейте, пейте чай и слушайте, уважаемая Надежда Кондратьевна...

Шла весна победного сорок пятого. Никакие оборонительные сооружения врага не в состоянии противостоять сокрушительному натиску советских войск, наступающих по территории фашистской Германии.

Сообщение разведки было страшным:

«В концлагере все подготовлено для сожжения узников! Спешите на помощь!»

С направления главного удара дивизии был снят целый батальон и брошен на выручку несчастных людей. Остервеневшие гитлеровцы не щадили и жителей собственных оставляемых населенных пунктов, а уж с пленными расправлялись не мешкая.

Была дорога каждая минута.

— Вперед, ребята! — подбадривал солдат вооруженный пистолетом и автоматом замполит стрелкового ба-

тальона майор Нурыев. — Главное окружить лагерь со всех сторон и ворваться в него одновременно!

Охрана концлагеря, как и следовало ожидать, оказала упорное и яростное сопротивление.

То справа, то слева от майора падали бойцы. Нурыев был вне себя и лихорадочно искал способов уберечь солдат.

— Ложись!.. Пропускай вперед себя танки! Наступать только под прикрытием танков! За танки! И — вперед!

Среди грохота и гула до него донесся басовитый голос командира первой роты Андреева:

— Сами бы поберeглись, товарищ комиссар!..

Танки с хода, как паутину, прорвали высокое ограждение из колючей проволоки и оказались на территории концлагеря, следом за ними бежали пехотинцы. Завязалась рукопашная. Люди, сцепившись, катались по земле, в упор расстреливали друг друга... Охранники лагеря, поднаторевшие в истязаниях над беззащитными и бессильными, не рассчитывали на пощаду и потому с фанатизмом искали себе смерти, сея ее вокруг.

А из лагеря, сквозь ряды дерущихся, бежали на волю узники. Несмотря на бой, кипевший повсеместно вокруг лагеря, в самом центре его суетились фашисты, раскатывая между бараками бочки с горючим и размахивая дымящими факелами. Это обстоятельство больше всего поразило видавшего виды майора Нурыева.

— Ну и мракобесы!.. Стреляйте их как бешеных собак, ребята!..

Нурыев было рванулся вслед за солдатами в глубь лагеря, но остановился как вкопанный — наперерез ему с вытянутыми вперед руками, спотыкаясь, бежала удивительно красивая девушка, а в нее целился из автомата фашист.

Майор бросился навстречу узнице, стараясь заслонить ее, и выстрелил в фашиста. Короткая, оборванная

на третьем патроне очередь прошила плечо Нурыева.

Схватившись рукой за раненое плечо, Нурыев, бледнея, глядел на девушку.

— Как тебе удалось в таком ужасном месте сохранить себя, красавица?

Нурыев покачнулся. Девушка подхватила его и, не удержав, опустилась вместе с ним на землю.

— У тебя все плечо в крови! Ой, кто-нибудь...

— Не надо... — Майор поморщился. — Тут у меня в сумке должен быть бинт. Перевяжи пока. Да не плачь... Главное — вас освободили.

Плача, девушка сноровисто бинтовала плечо Нурыева, стараясь заглянуть ему в лицо своими ясными глазами, полными любви и беспредельиой благодарности.

Нурыев залюбовался глазами девушки, на какое-то мгновение забыв о боли. Они были бездонно голубыми, и чем дольше смотришь, тем будто глубже в них погружаешься, испытывая при это неведомое чувство.

— Как же зовут тебя, дорогая?

— Зоя Сергиенко. С Украины я.

— Как же тебе уцелеть удалось, Зоя?

— Поначалу одевалась хлопцем, а потом, когда надо было переходить в женское отделение, ходила старухой. Все что похуже, все что поплоше. Лицо то сажей, то золой мазала. То скособочусь, то прихромаю. А больше— пряталась от глаз этих злыдней... Как он тебя! — У девушки снова на глазах появились слезы.

— Не горюй. Он давио мертв. Зароют его как собаку.

— Как зовут тебя, мой спаситель?

— Ата. Нурыев. А родом — из Туркмеиии...

Пока Нурыев и Зоя разговаривали, расположившись на густой и сочной траве, росшей сразу же за колючей проволокой, к концлагерю подошла колонна порожних автомашин.

Разношерстная масса бывших узников заволновалась, слушая команду:

— Домой, земляки! На Родину!.. По машинам!..

Заволновалась и Зоя.

— А что делать мне, Ата? Я не могу оставить тебя раненого. И потом, неужели мы вот так и простимся? Я не хочу расставаться с тобой. Если не тебе, то кому может принадлежать теперь моя жизнь, спасенная тобой!

Жертвенная страстность в словах Зои потрясла Нурыева.

Он порывисто привлек ее к себе здоровой рукой и задохнулся от разом заполнившей сердце нежности.

— Да кто сказал, что мы расстаемся? Мы просто доделаем каждый свое дело — я добью врага, а ты доберешься до дома,— и я обязательно найду тебя!

— Найдешь ли, желанный мой?

— Слово солдатское нерушимо! Найду, если жив останусь. А останусь ли? Ни один солдат этого не знает. Сколько их, наших ребят, полегло!.. — лицо Нурыева мгновенно помрачнело. — Поезжай и жди. Найду, Зоя!

Девушка порывисто прильнула к груди Нурыева и надолго затихла. Нурыев подумал про себя, что так припадают к груди солдат, прощаясь, только жены...

Надежда Кондратьевна сострадательно округлившимися глазами смотрела на Нурыева, а тот, закончив рассказ, задумчиво глядел поверх ее головы:

— Вот и ищу... Когда, сразу же после войны, начал колесить по Украине, понял о собственной излишней самонадеянности. Украина — это море городов и сел, в каждом из них остановись на неделю — и жизни не хватит. А обменяться адресами нам почему-то и в голову не пришло. Переоценил я себя, думал, Зоя Сергиенко это только моя Зоя Сергиенко. А их — не перечесть, тезок ее...

— Вы что же... — Павлова запнулась на слове. — До сих пор ищете ее?

— Ищу. Хотя знаю, что надеяться на что-либо уже почти бессмысленно.

Павлова опустила голову.

«Удивительно! Он ее ищет до сих пор!.. А что же Зоя, она сама? Неужели только сидела и ждала? И все продолжает ждать? А может, забыла давно? Ах, Зоя, Зоя! Если бы ты знала, какой груз на своем сердце несет этот милый человек...»

В кабинете воцарилась тяжелая тишина.

— Дай вам бог долгих лет жизни, Надежда Кондратьевна, — спустя некоторое время тихим голосом сказал Нурыев. — Мне сегодня благодаря вам посчастливилось заново пережить радость единственной встречи с Зоей и снова увидеться с нею. Спасибо вам, дорогая Надежда Кондратьевна, за то, что вы дали мне это счастье...

Павлова слышала и не слышала то, что сказал Нурыев. Потрясенная, она продолжала мысленно разговор с Зоей Сергиенко, испытывая теперь уже причастность к судьбам этих двух разлученных людей, ставших ей дорогими и близкими.

— Где же ты, Зоя? — вдруг произнесла она.

КОМАНДИРОВКА

Заман Бакиев давно не получал срочных заданий. Годы не те. Очерки, фельетоны, статьи, для которых можно не спеша собрать факты, взвесить, обдумать, отобрать их и потом писать, запершись у себя, — это было ему по силам. А вот репортаж...

— И все-таки я хотел бы послать именно вас, — сказал редактор и по давней привычке пристально посмотрел ему в глаза.

Бакиев спокойно выдержал его взгляд, покрутил в пальцах блестящую авторучку и сказал негромко, словно думая вслух:

— Поехать-то я поеду... Только будет ли от этого толк? Оперативность — увы, не моя стихия. А репортаж есть репортаж.

Редактор все еще изучающе смотрел на него. И вдруг улыбнулся.

— А не рано ли в старики записываемся, Заман? — с мягкой укоризной, дружески спросил он. И продолжил по-русски: — «Лет до ста расти вам без старости...» Разве не так?

Бакиев все еще хмурился.

— Если считаете, что именно я...

Редактор перестал улыбаться. Упрямство заведующего отделом не понравилось ему.

— Считаю, — сухо сказал он.

Бакиев достал блокнот.

— Как называется этот колхоз?

За круглым окном стремительно мчались красные сигнальные фонари взлетной полосы. Вдруг они словно бы провалились, и вот уже на замедляющей свой бег земле показался крохотный, со спичечный коробок, домик. Самолет набирал высоту.

Бакиеву надоело смотреть в окно. Он нажал рычаг на подлокотнике и, откинувшись вместе с податливой спинкой сиденья, устроился поудобнее. Уши заложило, и от этого неприятного ощущения не помогла отделаться липкая конфета, предложенная перед взлетом стюардессой. А когда-то ничего этого не испытывал Заман и с удивлением смотрел на людей, страдающих от высоты или качки. Годы...

Он закрыл глаза, отдыхая. Впереди его ждало еще много неудобств. К сожалению, самолетом прямо до

колхоза не долетишь, а Бакиев хорошо знал, что такое сельские дороги и автобусы.

Хотелось забыться. Но разве мысли остановишь? Они бегут, бегут, то исчезая бесследно, то вдруг волнуя, заставляют вновь переживать давно минувшее...

— Там, в колхозе, состоится торжественное вручение ордена Красного Знамени главному бухгалтеру... — редактор полистал настольный календарь, нашел нужную запись, — Байрамову. Вот об этом и надо дать репортаж. Мне звонили...

— Трудового? — переспросил Бакиев, записывая фамилию награжденного.

— В том-то и дело... — редактор снова оживился, сощурился хитро, будто бы приготовил невесть какой сюрприз, глаза его стали улыбчивыми. — В том-то и дело, что боевого.

Он помолчал, наблюдая, какое произвел впечатление.

Но Бакиева уже трудно было удивить. Он терпеливо ждал, что еще скажет начальство.

И снова недовольство с примесью непонятной обиды охватило редактора. «Постарел Заман, постарел», — теперь уже раздраженно подумал он.

— Байрамов был награжден во время войны, в сорок третьем году. Но только сейчас награда нашла его. В общем, — торопливо, желая поскорее закончить разговор, сказал он, — на месте вы все узнаете.

...В сорок третьем Бакиев тоже был на фронте. В том году погиб Алмаз. А ведь его фамилия тоже была Байрамов. Кажется, и его представили к ордену. Посмертно только.

А как зовут этого Байрамова? Жаль, не узнал... Ну да бог с ним. Бухгалтер. Конечно, сухарь, погряз в цифрах, слова живого из него не вытянешь. Не то что Алмаз.

Алмаз был боевой парень, горячий. Чуть что — вспыхивал, как сухая солома от спички.

Они познакомились в первые месяцы войны, горькие месяцы отступления.

Фашистские самолеты беспрестанно бомбили и обстреливали наши части. Нестерпимый вой сирен вдруг обрушивался сверху, солдаты падали, готовые ногтями, зубами вгрызаться в землю, и многие из них уже не поднимались.

А по дорогам в клубах пыли шли и шли, грохоча и лязгая гусеницами, немецкие танки, и невозможно было устоять против них. Слишком уж не равны были силы. И даже впереди, или, вернее, позади, на пути отступающих дивизий неожиданно возникали подразделения вражеских парашютистов, которые тоже изматывали наши части.

— Ну, сколько, сколько можно еще драпать? — горячился Алмаз. — Скажите, товарищ политрук. Или мы не солдаты, не мужчины, в конце концов?

Бакиев отмалчивался или отделывался трафаретной фразой.

— Командование знает, что делает. Вот измотаем, заманим, а там... Скоро уже.

Но сам он не очень верил в это, потому что видел, какая сила прет, и понимал, что не так-то просто ее остановить. Но верил: придет время — и остановим.

А Байрамову не терпелось — характер торопил.

— Не кипятись, — сдерживал его политрук. — Не в горелки играем.

Полк занял оборону. Из роты в роту, с батареи на батарею полетел приказ: приготовиться к бою. Тревожный и радостный приказ.

Бой был жаркий. Пылали невдалеке подбитые фашистские танки, а новые, меченные крестами, все выползали из-за леска, стреляя из пушек и пулеметов, и настал момент, когда обескровленный полк уже не смог

удержать оборону. Тогда пришел новый приказ: отходить.

Алмаз скрипнул зубами: «Опять!»

Они отступали под прикрытием батареи, но фашистские танки доставали их своим огнем, и снаряды рвались то здесь, то там, и снова падали люди, не дойдя до спасительного леса.

Бакиев был уже у самой опушки, когда в стороне грохнул взрыв. Он упал по привычке, сберегая себя, но тут же почувствовал боль в ноге. Попытался подняться, но снова упал.

— Что с вами?

Это был Алмаз. Он подбежал, нагнулся, заглянул в побледневшее лицо политрука.

— Нога?

Бакиев только застонал в ответ. Потом, переборов себя, снова попытался подняться. Но Алмаз подхватил его, осторожно взвалил на спину и, припадая от тяжести, поспешил к лесу.

— Лицо спрячьте, товарищ политрук, — тяжело дыша, сказал он. — А то ветками по глазам...

На какой-то полянке он опустил Бакиева на влажную, поросшую травой землю, тяжело выдохнул.

— Перевяжу, — пояснил он, доставая индивидуальный пакет.

Бой на опушке все разгорался. Алмаз понял, что гитлеровцы вот-вот сомкнут кольцо. Он снова поднял Бакиева и понес, спотыкаясь о корневища.

С каждым шагом идти становилось все труднее, и обнаженные корни под ногами стали раздражать.

— Слушай, — с трудом сказал Заман Бакиев, — оставь. Лучше уж один. А то вдвоем пропадем.

Алмаз чуть повернул голову, и Бакиев услышал, как тяжело он дышит, увидел его лицо, залитое потом, с мокрыми, слипшимися волосами на лбу, под пилоткой.

— Не надо отвлекать меня разговорами, — сказал прерывисто Алмаз.

И прибавил шагу.

Бакиев чувствовал, каких огромных усилий требовалось Алмазу для того, чтобы не упасть, удержать на себе слабеющее и с каждым шагом становящееся все более тяжелым тело.

— Стой, — сказал он, вдруг испугавшись, что потеряет сознание от потери крови и этой мучительной тряски. — Стой! Слышишь! Стой!

Но Алмаз только подбросил слегка его, чтобы не сползал, и тряхнул головой, — наверное, пот застилал ему глаза, мешал смотреть вперед и под ноги.

В это время стало мутнеть все вокруг, Бакиев попытался сказать, что случилось что-то неладное, но уже не смог...

Двигатели гудели ровно, протяжно, а самолет почему-то вздрагивал. «С норовом»,— подумал про него Бакиев и посмотрел на часы. Оставалось еще полчаса полета.

Алмаз, конечно, никогда не летал на самолете. Стрелял по ним, прятался от них, а летать вот так, пассажиром, не довелось. До войны это была слишком дорогая роскошь.

До войны... Как давно это было — целая вечность! Интересно, кем бы стал Алмаз после победы? Наверное, вернулся бы в свой колхоз. А может, подался бы в город, учиться. На летчика. А что, с его характером это вполне возможно.

А этот Байрамов выбрал сидячую профессию, стал бухгалтером. Ведь тоже воевал, орден заслужил. Значит, такой характер...

Нет, Алмаз не стал бы стучать костяшками счетов, «сальдо» с «бульдо» сводить, он бы наверняка за настоящее дело взялся...

В тот день он первым поднялся в атаку за политруком и сразу же обогнал его.

Бакиев, задыхаясь от бега, все время видел Алмаза впереди. Сильный, словно не знающий устали, он легко бежал по жнивью к дымящимся после артподготовки фашистским позициям. И, помнится, Бакиев позавидовал тогда его силе и ловкости. Но в то же мгновение на месте, где только что был Алмаз, взметнулся вверх серо-бурый сноп взрыва.

На глазах Бакиева многих убивало, но это был человек, который спас его однажды, и политрук метнулся к тому месту, увидел распластанное, окровавленное тело и закричал, озираясь:

— Санита-ар!

Солдат с медицинской сумкой подбежал, с ходу бросился на землю рядом с Алмазом, приник к его груди.

— Ну? — Бакиев схватил его за плечо. — Будет жить?

Санитар поднял голову, сказал раздраженно:

— Делайте свое дело, товарищ политрук. Я не факир.

Наступающие ушли уже вперед, и Бакиев бросился догонять их. Оглянувшись, он увидел, как санитар поднялся, отряхнул ладони и побежал, придерживая свою брезентовую сумку, куда-то в сторону, — там, наверное, позвали его.

Вокруг стояла та удивительная, прямо-таки лечебная тишина, которая обычно поражает горожанина, приехавшего в село. И воздух! Черт побери, разве в городе бывает такой чистый, напоенный весенней свежестью, пьянящий воздух?..

Бакиев не спеша шел по тропинке, протоптанной в траве между деревьями, к белеющему вдали зданию правления. Его указал ему мальчишка, гоняющий велосипедное колесо по дороге.

Здание было новое, добротное, с большой террасой, с чистыми занавесками на распахнутых окнах.

У одного окна Бакиев задержался, услышав разговор.

— Мы вас, товарищ Байрамов, знаем как человека принципиального, который постоянно заботится о благе колхозников... — журчал льстивый голос.

Другой недовольно прервал его:

— Бросьте вы, Сапар-ага. Все равно я не разрешу, потому что это противозаконно.

— Знаю, знаю. Но ведь... хе-хе... как говорится, закон можно и не нарушать — его обойти можно.

— Нет, Сапар-ага, не будет этого. До свидания. А у вас что, Керим?

— Я к вам как к депутату. Поставьте в райсовете вопрос о газе. В «Захмет» с прошлого года баллоны возят, а у нас все тамдыры дымят. А ведь соседи, только граница района нас разделяет.

— Это ты дельно предлагаешь, Керим, — голос Байрамова потеплел. — Думаю, что мы такое решение примем. Плиты колхоз приобретет, деньги у нас есть, а баллоны — добьемся, будут возить.

— В крайнем случае на колхозной машине можно, — обрадованно поддержал Керим.

— Тоже верно, — согласился собеседник. — В общем, будем добиваться.

— Спасибо, Алмаз-ага!

Бакиев вздрогнул. Алмаз? Может ли быть такое совпадение?

Он шагнул к окну, отодвинул занавеску дрожащей рукой.

В комнате за широким письменным столом сидел человек, удивительно похожий на того Алмаза. Он пове-

нулся к окну и сощурился, глядя из полумрака на свет.

— Алмаз, — негромко, срывающимся голосом позвал Бакиев.

Человек потянулся к нему, все еще вглядываясь и щурясь, но что-то изменилось в его лице.

— Это я, политрук Бакиев.

Алмаз Байрамов порывисто и как-то неловко, согнувшись над столом и упираясь одной рукой в стекло на нем, поднялся и стал шарить свободной рукой внизу. Там что-то щелкнуло, Алмаз выпрямился, не глядя, привычно схватил костыль за спиной, и только тогда Заман Бакиев догадался, что тот на протезах. Он все еще стоял, привалившись к подоконнику, и смотрел в полумрак комнаты, чувствуя, как начинает покалывать возле взволнованно стучащего сердца.

— Я пришел, — сказал он почти шепотом. — Здравствуй, Алмаз.

ВЕТЕРАНЫ

Скорый поезд «Москва—Ашхабад», оставляя за собой километры, стремительно мчался на юго-восток. Обширные равнины и темные монолиты лесных чащ, тяжелые тучи и валивший густой снег, станционные постройки и отдаленные поселки — все, казалось, подпрыгивало вместе с вагоном под ритмичный стук колес.

Хоммат Рахимов сидел в купе мягкого вагона и, облокотившись о столик, неотрывно смотрел в окно. Со стороны можно было подумать — залюбовался человек картинами зимы и позабыл обо всем на белом свете. Сидит и не замечает, что левая штанина его пижамных брюк задралась и обнажила широкий рубец между голенью и щиколоткой.

Пожилая женщина, сидевшая напротив, заметив обезображивающий рубец на ноге попутчика, украдкой оглядела его самого.

Крупное, некогда тренированное тело, густая, щедро тронутая седииой шевелюра, широкий лоб, изрезанный морщинами — все свидетельствовало о нелегко прожитой жизни.

Женщина не выдержала.

— Простите, вы имеете еще ранения?

Рахимов инстинктивно одернул штаниину.

— Что вы сказали?

— Кроме этого, — женщина кивнула на ногу Рахимова, — вы и еще имеете ранеиия?

— Да. В спину и запястье. И все от одного снаряда... Почему это вас заинтересовало?

— Да так. Как говорится, от нечего делать. Вроде и спешишь куда-то, а делать все равно нечего.

— Ну коли так, давайте тогда знакомиться, — улыбнулся Рахимов. — Зовут меня Хомматом, а фамилия Рахимов. Учитывая наш с вами приблизительно одинаковый возраст, можете называть меня просто Хомматом.

— А меня зовут Мария Платоновна Терещенко, или просто Маша.

— Прекрасное имя. — Рахимов оживился. — Знал я одиу Машу... Давно это было, еще на фронте.

— Да уж имечко мое распространенное. Во всяком случае, среди женщии моего поколения. Сейчас его реже давать стали.

— В нынешнее время и на имена мода. И ничего тут ие попишешь... Ну да ладно, Мария Платоновна, давайте лучше займемся каким-нибудь делом... ну, хотя бы — закусим. Не возражаете?

— Не возражаю.

— Ну и хорошо. — Хоммат Рахимов обернулся к висевшей сетке с провизией.

Мария Платоновна тоже достала свою дорожную сумку, и вскоре столик оказался тесно уставленным закусками...

— Вы знаете, Мария Платоновна, своей жизнью на этом свете я обязан одной девушке по имени Маша.

— Что вы говорите!

— Я не шучу... До самой последней минуты я буду свято помнить о двух женщинах: о матери, давшей мне жизнь, и об украинской девушке Маше, воскресившей меня почти из мертвых. Вы уж простите меня за мою не по возрасту пылкую откровенность, но вы носите имя близкого для меня человека.

— Ну что вы, Хоммат Рахимович, как можно судить вас!

— Не могу без волнения вспоминать об этом... Впрочем, что это я все о своем. Расскажите немного о себе, хотя бы в двух словах.

— Если в двух словах — я санинструктор военных лет и доктор медицины сегодня. А вы?

— Офицер запаса. Ныне — секретарь парткома завода. А вы, значит, были в войну санинструктором? — Глаза Рахимова засветились внутренним теплым светом. — И тоже, значит, Маша?

— Да мало ли нас, санинструкторов, с таким именем было!

Мария Платоновна принялась убирать со стола.

— Это верно... — Рахимов поднялся и, прихватив пустой чайник, вышел в коридор.

Вернулся он скоро, неся заваренный чайник и коробку конфет.

— Куда же вы путь держите, Мария Платоновна?

— Еду в командировку, в Ашхабад.

— Значит, нам по пути до самого конца. Мне положительно повезло в этот раз на попутчиков... Давайте пить чай.

— С удовольствием.

Хоммат Рахимов разлил чай по пиалушкам и задумчиво произнес:

— Та Маша, наша Маша, была красивой девушкой... К сожалению, я не записал в свое время ни ее фамилии, ни ее адреса. Просто Маша. Только так и помню ее.

Мария Платоновна, отпивая чай, покивала головой:

— Да уж, биографий друг друга мы не знали... «Товарищ командир»— и все, «товарищ политрук»— и все понятно. А между тем какие люди были! Политрук наш... молодой, красивый, отчаянный, слово такое знал — бойцы за ним под огнем вставали и шли, шли в любое пекло.

— Как звали вашего политрука?

— Товарищ политрук. Нам этого было достаточно. О завтрашнем дне на фронте мало думали.

— Это так, — согласился Хоммат Рахимов. — Зато как мы теперь себя клянем за то, что не имеем о дорогих нам людях хоть малейших сведений... Меня тогда, летом сорок третьего, изрешетило осколками от одного снаряда, да так, что и выжить я уже не надеялся. Бой шел жестокий, кровопролитный, косило людей нещадно. Я истекал кровью, умирал в сознании, зная, что помочь мне уже трудно, да и некому — бойцы мои ушли далеко. И тут появилась она, наш санинструктор Маша. Перевязала мои раны и вынесла на себе из этого пекла. Только уже после, в медсанбате, я узнал о том, что Маша выносила меня будучи сама раненной... Потом был госпиталь, другие части, и больше я уже своей спасительницы не видел.

— Где это с вами произошло?

— На Курской дуге.

— И вы помните номера своей дивизии, полка, роты?

— Да разве их забудешь! — И Рахимов неторопливо перечел номера.

Мария Платоновна отставила пиалушку с чаем и обессиленно опустила руки...

Тот бой и ей запомиился на всю жизнь. Небо буквально кишело самолетамн, и на голову градом сыпались бомбы, гремели пушечиые залпы, ревели танковые моторы, н всюду — удушающий запах пороховой гари и окалнны. Политрук то поднимал роту в атаку, то, щадя людей, укладывал их на землю. Но себя не щадил. Без пилоткн, в гимиастерке с расстегиутым воротом н с автоматом в руке, он перебегал от одной цепн бойцов к другой. Маша с тревогой следнла за ним. Очередной разрыв снаряда заслоннл от нее политрука, а когда черный дым рассеялся, она увидела то, чего больше всего боялась... Полнтрук истекал кровью. Превозмогая боль собственной раиы, оиа как могла перебннтовала и перевалила его тело себе на спнну...

— Вот мы и встретнлнсь, товарищ политрук. — Мария Платоновна, справившнсь с минутной слабостью, подняла на Хоммата Рахимова глаза.

Тот как-то неловко приподнялся и опустился на место. Зачем-то полез во внутреиний карман пнджака и, не найдя там того, чего искал, лнхорадочно захлопал по карману пнжамных брюк.

— Черт возьмн, осталнсь... В Москве, у сына в общежитии.

— Что — осталнсь? — взволновалась Мария Платоновна.

— Сердечные каплн, Маша... Вот ведь как, — Хоммат Рахимов положил руку на сердце. — Такое оно у меня что-то чувствнтельное стало... — Он бесснльно прислоиился к вагоиной перегородке.

Мария Платоновна стремнтельно достала из-под стола свою дорожную сумку и извлекла из нее пузырек...

Придя в себя, Рахимов благодарно улыбнулся Марни Платоновне:

— Маша... спасительница моя...

Мария Платоновна Терещенко присела рядом с Хомматом Рахимовым.

Они сидели рядом и молчали. Два человека, мужчина и женщина — два ветерана последней, отдаленной уже войны.

РЯДОМ ТОВАРИЩ

Поезд приближался к станции и предупреждал об этом протяжным гудком. Но и без предупреждения было ясно, что скоро конец пути: желто-серое однообразие пустыни со сквозными кустами саксаула на пригорках и щетиной верблюжьей колючки сменилось темными прямоугольниками полей, уже мелькали за оконным стеклом первые строения пригорода.

В коридоре вагона стало шумно — наиболее нетерпеливые пассажиры тащили к выходу свои чемоданы. Стали собираться и соседи Беглиева по купе. А он все сидел у окна, вытянув ногу, спокойно дымя сигаретой,— он давно отвык спешить.

Под полом вагона зашипело — очень похоже на вздох облегчения после долгой и нелегкой дороги. Медленно поплыла рядом с вагоном бетонная лента перрона, встречающие махали руками и букетами цветов. Снова зашипело, и вагон остановился напротив вокзального здания.

Беглиев смял в пепельнице окурок, посмотрел на перронный водоворот, вздохнул и поднялся, придерживаясь за столик одной рукой, а другой нащупывая костыли.

Туго набитый портфель не желал вылезать из уютного гамака сетки: зацепился замком.

— Разрешите помогу, — сказал сосед по купе.

— Спасибо, — суховато поблагодарил Беглиев, принимая портфель.

Пассажиров в коридоре было уже немного, они жались к стенкам, пропуская Беглиева. И он проходил вперед, хотя необходимости торопиться не было. Он просто настолько привык к предупредительности окружающих, что порой не замечал ее, как не замечают будничное, примелькавшееся явление.

— Благодарю, — привычно сказал он проводнику, который поддержал его под локоть при выходе из вагона.

Влившись в людской поток, Беглиев двинулся в город.

Солнце пекло не по-осеннему, но зелень кругом, на привокзальной площади и на улицах, была яркой и свежей.

— Жарко, сынок? — осведомился яшули в тельпеке, заметив струйки пота на лице Беглиева.

— Тепло, отец!

Он вытащил из кармана платок, сдвинул на затылок шляпу, вытер пот на лбу, провел платком по лицу, промокнул волосы.

— Хорошая погода, — сказал яшули, помедлил и добавил специально для городского человека: — Для колхозов хорошая, для урожая.

Некоторое время они шли молча. Ритмично поскрипывали костыли, отсчитывая: раз-два, раз-два, раз-два. Потом старик спросил, с трудом выговаривая канцелярское слово:

— Комар... командировка?

Беглиев улыбнулся проницательности спутника.

— Разве по мне видно, что я командированный?

— Видно, — заверил его яшули. — По человеку многое увидеть можно. Вот ты молодой еще, а седой весь. Почему?

— Дело прошлое, — отмахнулся Беглиев.

— Так-то оно так, да прошлое, сынок, за человеком

тянется, как хвост за вараном — никуда от него не денешься.

— Что верно, то верно, отец. Давно война кончилась, а следов ее кругом в избытке.

— Ногу тоже там оставил?

— Там.

— Ну, это ничего. Голову целой принес, руки целыми принес. Нога не главное в жизни. У нас в ауле многие с войны покалеченными вернулись, а живут сейчас, работают, на жизнь не жалуются.

— Я тоже не жалуюсь, — сказал Беглиев, перекладывая объемистый портфель из одной руки в другую.

— Давай свой хурджун,— предложил старик,— донесу до гостиницы.

— Спасибо, яшули, я в гостиницу не тороплюсь. Посижу в парке, подышу свежим воздухом.

— Дыши, дыши, сынок, воздух у нас хороший, здоровый воздух. А еще лучше — в колхоз к нам приезжай. Неделю поживешь — на год помолодеешь. Назар-агу спросишь — любой к моему дому проводит.

— Спасибо, отец, — еще раз поблагодарил Беглиев. — Если время позволит, обязательно загляну.

Распрощавшись со словоохотливым попутчиком, он свернул в сквер, густо заросший кустарником. Здесь было заметно прохладнее, чем на улице. Беглиев сел на скамью, обмахнулся шляпой и с удовольствием закурил, располагаясь поудобнее. «Посижу с полчасика для аппетита, — решил он, — а потом можно и к гостинице поближе — номер-то все равно заказан».

Однако долго отдыхать ему не пришлось. Где-то совсем неподалеку, за стеной кустарника послышались голоса.

— Пойдем домой, прошу тебя! — умолял женский голос. — Вчера дома не ночевал, и сегодня то же самое? Когда поумнеешь-то? Голова вся седая, а ты как бездомная собака под заборами валяешься. Или совсем у

тебя совести не осталось? Сил моих не хватает с тобой мучиться! — Женщина всхлипнула.

— Пойдем, папа... ну па-па, пойдем! — тянул детский голос.

— Н-не пойду! — сипел пропитой бас. — Отступись, Алма... Встану — хуже будет!.. Сказано: пол литра неси!

— Да будет тебе поллитра, будет!— уверяла женщина. — Придем домой — пей сколько влезет, хоть залейся! Эзиз, помоги отцу подняться... Вставай, Дурды!

— Не хватай руками! — сопротивлялся пьяный. — Алма, сюда неси водку... здесь пить буду!.. Отстань, Эзиз!

Беглиев досадливо поморщился: он терпеть не мог пьяниц, не понимая, как может здравомыслящий человек доводить себя водкой до скотского состояния. Ну выпить рюмку, две за праздничным столом — это еще куда ни шло. Он и сам не чурался компании, если все было в меру. Рюмка вина оживляет беседу, хотя смысла ей в общем-то не прибавляет. Но когда человек напивается, как этот неизвестный Дурды, — к таким Беглиев относился с брезгливым недоумением. И даже втайне побаивался их. А когда слышал слова сочувствия пьяницам, возмущался и негодовал: «Какое лечение! Без всякого снисхождения удалять их как социально опасный элемент!»

— Неси водку, сказано! — настаивал за кустами пьяный. — Слышишь, Алма? Быстро неси... муж выпить желает...

— Пропади ты пропадом вместе с ней! — возмущалась женщина. — Нажрался так, что на ноги встать не можешь. Куда тебе еще пить? И так пропиваешь и мою зарплату, и свою пенсию. Людей бы хоть постыдился! Дети оборванными ходят, сам на кого похож...

Беглиев решительно поднялся со скамьи. В нем мешались раздражение и злость. Подойти вот, думал он, стук-

нуть костылем по дурацкой башке, чтобы всю дурь разом вышибить. Живут же такие на свете, другим только жизнь отравляют!

Но решимости хватило ненадолго. Пусть вмешиваются другие, кому это положено.

— Глаза от людей девать некуда,— жаловалась женщина.— Куда ни придешь, сразу спрашивают: «Опять своего Пейманова потеряли?» И стоишь как оплеванная...

Беглиева словно в грудь ударили. Стало жарко. Не может быть, думал он, ерунда какая-то. Ослышался? Да нет, не ослышался, имя и теперь фамилия явственно прозвучали. Значит, совпадение? Конечно, совпадение. Мало ли на свете людей носят одинаковые имена и фамилии. Не он это, конечно, не он, какой-то другой Дурды Пейманов.

Беглиев постоял, прислушиваясь. Но за кустами молчали. И тогда он пошел в ту сторону, откуда слышал голоса.

На земле вниз лицом, разбросав руки, лежал человек с деревяшкой вместо одной ноги. Возле него на корточках сидела женщина в старенькой выцветшем платье. Мальчик лет двенадцати стоял поодаль и, насупившись, ковырял землю пальцем ноги.

— Здравствуйте,— сказал Беглиев.

Женщина подняла на него мокрые тоскливые глаза, хотела что-то сказать, но вдруг застеснялась, прикрыла рот заплатанным рукавом платья.

— Извините,— сказал Беглиев,— я нечаянно слышал... ваш разговор. Вы назвали имя — Дурды Пейманов. Кто это?

— Мой папа,— ответил за женщину мальчик.— Вот он.

— А ты кто таков? — подал голос пьяный.— Милиция?

— Нет,— сказал Беглиев,— я не милиция.

— Ну и проваливай тогда пока цел! — Пьяный угрожающе зашевелился.

— Дурды Пейманов... — и веря и не веря, медленно проговорил Беглиев, чувствуя, как горчит от волнения во рту. — Посмотри на меня, Дурды Пейманов!

Лежащий рывком приподнялся на руках, показав свое небритое, помятое лицо, искаженное злой гримасой.

— Чего надо?!

Он сел, покрутил головой, сплюнул на землю, рядом с собой. Заметив лежащую поодаль клюшку, подтянул ее к себе.

— Дурды! — быстро и тревожно сказала женщина.

Щерясь от натуги, всем телом опираясь на клюшку, пьяный стал подниматься. Встал, покачался, утверждаясь в вертикальном положении. Из-под опухших век глаза его настороженно и недоверчиво ощупывали Беглиева.

— Не узнаешь меня, Дурды? — тихо спросил Беглиев.

— А-а, друг! — радостно качнулся к нему Пейманов. — Здорово, друг!

Он, вероятно, упал бы от резкого движения, не поддержи его Беглиев.

— Значит, узнал?

— Я тебя давно знаю! — погрозил пальцем Пейманов. — На «поплавке» пару пива у меня зажилил. Нет, скажешь?

— Вспомни Сталинград! Вспомни Мамаев курган, атаку немецких танков...

— Вот мой Сталинград! — Пейманов ткнул себя в грудь грязным пальцем.

На его добела застиранном кителе щербился обколотой эмалью орден Отечественной войны и рядом — две колодки, до того замурзанные, что невозможно было установить, какие медали на них висели в свое время.

— Вот моя кровь! Не то что другие — по тылам не отсиживался! Вот этими руками фашиста в гроб... в печенки... бил! Постой, а ты откуда про Мамаев курган, про танки знаешь?.. Ты... ты...

— Я Гаммар Беглиев. Неужто забыл?

Казалось, Пейманов сразу протрезвел — спокойным стало дергающееся лицо, осмысленным взгляд. Он стоял, беззвучно шевеля губами. Потом угол рта у него жалко повело вниз, он отвернулся.

— Дядя, — окликнул Беглиева мальчик, — вы папин друг, да?

— Да, — подтвердил Беглиев, — друг.

— Вы тоже водку пьете?

— Нет, водку я не пью.

— А почему папа пьет?

— Папа... не будет пить.

Мальчик издал какое-то неопределенное восклицание и отошел к матери.

— Возвращайтесь спокойно домой, — сказал Беглиев женщине и ободряюще улыбнулся. — Все будет хорошо, не волнуйтесь. Мы немножко поговорим с вашим мужем, а потом... я постараюсь, чтобы он не заблудился, не прошел мимо дома.

— Я вам верю, — сказала женщина. — Верю... — повторила она, помедлив.

Но он не уловил доверия в ее голосе, и ему стало неприятно, словно он и впрямь обманул ее, хотя всю жизнь старался не обманывать ни других, ни себя.

Он мог бы сказать ей, что они с Дурды Паймановым — побратимы, что Дурды спас ему жизнь, и он тогда, в холодном сыром окопе, поклялся великой клятвой, что отплатит тем же автоматчику Дурды Пейманову.

Но что мог сказать он — имеющий ученую степень и академический оклад, — что мог сказать этой измученной женщине — жене алкоголика Пейманова?

Говорить было нечего.

И он молчал, ожидая, пока она уйдет.

А она все медлила, все не решалась уйти. И смотрела на него как бы с упреком. И мальчишка смотрел — вопрошающе, укоризненно, будто он, Гаммар Беглиев, был виноват в сложившейся ситуации. А чем он был виноват? Разве что умышленно пошел на эту случайную встречу, хотя легко мог избежать ее.

Мог бы?

«Да, — пытался утверждать он. — Прошлое — не хвост варана, и нет нужды тащить его за собой. Нужно ли тащить за собой прошлое?..»

— Ты изменился, Гаммар,— сказал Пейманов.— Ты совсем не похож на того парня, с которым мы делилн махорку и водку.

Он справился с волнением и говорил почти спокойно, лишь временами что-то булькало у него в горле, и он делал глотательные движения и плевал липкой тягучей слюной. Его испитое лицо было строгим и отчужденным. Кто мог представить, что это он пять минут назад валялся на земле и требовал поллитра?

— Я рад, Дурды, что встретил тебя! Совершенно не ожидал встретить, думал, что... Очень рад!

Беглиев говорил и верил в то, что говорит. Хотел верить. Однако настоящей радости не было, и Пейманов с обостренной чувствительностью привыкшего к неудачам человека видел это, и ему было неловко, он старался не показывать, что понимает истинные чувства Беглиева.

— И я доволен, — говорил он, кривясь бесцветной улыбкой. — Помнишь, как ты мне свои наркомовскне сто грамм отдавал?

Беглиев помнил, как захлебнулась танковая атака немцев, как, круто разворачиваясь на одной гусенице, удирали «пантеры». Помнил, как из грохота, визга и пыли вырвались осатанелые морды пьяного танкового десанта.

Стоило на миг прикрыть глаза — он и сейчас ощущал плечом судорожные толчки «дегтярева». И видел, как падали, словно ныряли в землю, набегающие темные фигуры. А потом кончился диск — и надвинулось что-то орущее, перекошенное, в распахнутом мундире, и часто-часто забился бледно-красный змеиный язычок пламени из ствола «шмайсера».

Язычок тянулся к нему, а диск кончился, нечем было остановить это змеиное жало, и Беглиев обреченно вжимался спиной в сырую стенку окопа. Но рядом появилась рука с твердыми обломанными ногтями, сухо и деловито простучал ППШ — и гитлеровец раскорячился, распластался на окопном бруствере.

Беглиев плакал от радости и обнимал Пейманова, который успел срезать очередью вражеского автоматчика. А Пейманов посмеивался, крутил, рассыпая табак, цигарку, и его грязные руки с обломанными пожелтевшими ногтями казались Беглиеву самыми красивыми в мире. «Брось ты эту панихиду, — говорил Пейманов, щеголяя русскими словами. — Обязан... обязан... Ты мне обязан, я тебе обязан — все мы друг другу обязаны, одну Родину защищаем, для нее жизнь свою побереги. А мне лучше сто граммов своих отдай — один черт не пьешь, старшине остается».

В начавшемся наступлении Пейманова ранило, его увезли в госпиталь. Не две и не три попытки делал Беглиев, чтобы разыскать друга. Но трудно найти человека в великой мясорубке войны, когда вперед, на запад, стремительно идут дивизии и армии, когда нет единиц, а есть могучая, всесильная масса.

Так и потерялся Пейманов. А вскоре ранило и Беглиева. Демобилизовали по ранению, вернулся в Ашхабад, закончил аспирантуру, защитил одну диссертацию, потом — вторую, докторскую. Жизнь текла в общем-то ровной, накатанной колеей, жизнь была благосклонна, и он почти не замечал своего физического недостатка.

Порой вспоминалось прошлое. Не часто, но — вспоминалось. Время стирало грани минувшего, и Беглиев уже не чувствовал той остроты переживаний, которая была в нем прежде. Прошлое теряло свою реальную основу, становилось легендой, отодвигалось все дальше и дальше.

Не отодвинулось!

— Где же тебя-то зацепило? — спросил Пейманов. — Далеко от Сталинграда ушел?

— Недалеко, — Беглиев потряс на ветру мокрый, хоть выжми, платок. — Через месяц после тебя.

— Стало быть, мы с тобой два костыля — пара?

— Три, — пошутил Беглиев. — У меня — два и у тебя — один.

— Деревяшку мою в счет не берешь?

— Это, брат, уже нога, а не костыль.

— Трудно с вами, с учеными, спорить. Наши ребята как там? Все живы? Ванька Лемзяков живой?

Пейманов спрашивал так, словно Беглиев только что вернулся с фронта, и Беглиева это не удивляло.

— Живой был, — ответил он. — Из пэтээровцев его в артиллерию направили.

— Правильно! Он головастый мужик. А Янис Лапинь?

— Погиб на переправе.

— Жаль... А тот рыжий, из-под Вологды... как его?

— Связист, что ли?

— Ну да, связист! Помнишь, он толстенного фрица приволок, когда линию исправлять ходил?

— К Герою его представили. А получил ли, нет ли,— не знаю. И майора, замполита нашего, тоже представили. Он сейчас в Ленинграде, архитектурой своей занимается.

— Да, помню, как он возмущался, что люди разрушают вместо того, чтобы строить. Все, брат, помнится, как вроде вчера это было.

— Сядем? — предложил Беглиев.

От реки тянуло прохладой. Где-то неподалеку шлепали вялые волны Мургаба, качался ресторан-«поплавок». Задорно кричали за деревьями мальчишки («Лянгу бьют»,— пояснил Пейманов), смеялись и взвизгивали от полноты жизни девушки. Усатый дядька в тельняшке под пиджаком скосил неодобрительный взгляд на сидящих — чего, мол, прохлаждаются в рабочее время. Торопливо прошла озабоченная женщина, из авоськи торчали хвостики моркови и редьки, и Беглиеву вдруг очень захотелось тертой редьки с уксусом и постным маслом.

— Работаешь где-нибудь? — спросил Беглиев, чтобы прервать затянувшееся молчание.

Пейманов усмехнулся.

— Зачем мне работать? Я персональный пенсионер районного масштаба. Хожу себе, гуляю, жду, когда приятель какой-нибудь кружку пива поставит.

— Бодрости былой, вижу, не потерял?

— А чего нам, героям, нос вешать? На баяне в парке играем, людей веселим и сами веселимся.

— Почему так сильно пьешь, Дурды?

— Ты же и приучил! Свои сто граммов к моим прибавлял на фронте — вот я и привык.

— Я с тобой серьезно говорю.

— А-а, брось ты эту панихиду! — махнул рукой Пейманов.— Я проработками вот как сыт! — он провел ребром ладони по горлу.— Пойдем лучше по стопке опрокинем встречи ради. Или по-прежнему сторонишься?

— Сторонюсь, — вздохнул Беглиев.

Встреча получалась невеселой. Прямо не встреча, а затянувшееся прощание. Рядом сидел друг, фронтовой товарищ, человек, благодаря которому Беглиев слышит сегодня шепот парка не берегу Мургаба и дышит терпкими запахами осени. Но сел бы вместо Пейманова тот

незнакомый, усатый, в тельняшке, — и кажется, проще было бы, легче.

Легче?

Может быть, думал Беглиев. Мы всегда — вольно или невольно — стараемся избежать лишних хлопот, лишней ответственности, успокаивая себя шаткой аргументацией, что это, мол, нас непосредственно не касается. А почему, собственно говоря, не касается? Личное благополучие склонны представлять как всеобщее благоденствие, — вот почему! А когда жизнь сталкивает нас с чужими горестями и невзгодами, что ж, мы не отказываем в сочувствии, полны добрых стремлений помочь, но часто ли помогаем в действительности, по существу? Не подменяем ли действие желанием? Вот и женщина на меня с упреком смотрела, и, наверное, права она. Ах, Дурды, Дурды, друг ты мой, товарищ! В одном окопе бедовали с тобой, от одной спички прикуривали, последний сухарь пополам ломали, — почему же так разно задались наши судьбы?

Много воды утекло с тех пор, когда мы виделись в последний раз. А встретились — и почему-то прячем глаза, цедим незначащие слова. Почему такое, Дурды? Кто из нас повинен, что мы сегодня не в одном окопе? А может быть, все-таки в одном? Может быть, сегодня кончились патроны *в твоем* диске, и я просто-напросто обязан помочь тебе *своим* боезапасом, как некогда помог мне ты?

— Трудно стать ученым, Гаммар?

Беглиев вытряс из пачки кончик сигареты, подождал, пока Пейманов разомнет белый табачный цилиндрик, щелкнул зажигалкой.

— Трудно, Дурды. Но человеком стать еще труднее.

— В мой огород камешек?

— На сей раз — в мой.

— Ну-ну... — с сомнением проговорил Пейманов. — Тебе-то на что жаловаться...

Он жадно, несколько раз подряд затянулся, ощущая, как едкая горечь дыма словно бы приглушает, нейтрализует горечь душевную. Еще не исчезло чувство неловкости, но постепенно Пеймановым овладело счастье неожиданной и доброй встречи, он радовался этому и боялся проявить свою радость слишком откровенно, он даже старался не смотреть в сторону Бетлиева.

Они выкурили по одной сигарете, закурили по новой, обмениваясь пустыми фразами. Но каждый думал о своем. И прошло немало времени, прежде чем разговор наладился.

Это был даже не разговор, а скорее исповедь Пейманова. Для него годы как бы сдвинулись, вроде мехов баяна. Бетлиев возник оттуда, где для Пейманова все было просто, твердо, удачно. Конечно, война — не беседа с приятелем на «поплавке» за кружкой пива, но именно там, на войне, Пейманов чувствовал себя человеком, знал свое место в жизни. Там была уверенность в своей значимости, цель впереди и силы для ее достижения. Короче, настоящая жизнь Пейманова осталась в том прошлом, живым олицетворением которого явился Бетлиев. И потому Пейманов торопился рассказать о себе все, каждое слово как будто снимало частичку мути и мусора с души, каждое сказанное слово приближало ту настоящую жизнь, по которой он так долго, отчаянно и бессильно тосковал.

Рассказывая, он не щадил себя. Да, говорил он, было всякое: и заслугами военными хвастался, и инвалидностью козырял, и вздорность характера показывал, — все было. Сперва раздражен был ранением, которое лишило возможности вернуться на фронт. Потом как-то упустил из вида, что время трудное для всех, не для него одного. А потом и вовсе посчитал себя обездоленным, обиженным, обойденным вниманием. И обозлился, завил горе веревочкой, стал искать утешение в рюмке, — а отсюда и новые неприятности.

Нет, не тянуло его на легкие хлеба, не пытался он пристроиться к жизни сбоку! Пусть Гаммар не думает, что он, Пейманов, совсем уже конченый и ни на что не годный человек! Он хотел работать — честно работать и прямо смотреть людям в глаза. Да все не везло: в критический момент не друзья, а больше собутыльники попадались, с начальством не ладил, и вообще... Что вообще? Ну, словом, на перекос жизнь пошла, под уклон. Жена, правда, Алма — редкостной доброты женщина, поддерживает сколько может, ободряет. Так ведь все-таки женщина! А тут бы крепкую, мужскую поддержку надо. Нет, почему же, были, конечно, рядом ни одни собутыльники, были и умные, серьезные люди. Но то ли у них душевности не хватало, то ли сам он не сумел или не пожелал принять эту душевность... Вероятно, и то и другое, а, Гаммар? Силы ведь во мне, упорства — на троих хватит! Руки — ты посмотри, какие руки! — ими не пуговки на баяне пересчитывать, а горы ворочать! Или, думаешь, мне уже не под силу горы, на холмики надо настраиваться?

— Посмотрим, на что ты годен, — сказал Беглиев.

Он слушал и с облегчением и радостью узнавал прежнего Пейманова — человека убежденного, что трудности только для того и существуют, чтобы не дать людям возможности мхом обрасти. Ну, оступился он, ослаб духом на время, — так это с каждым может случиться. И очень хорошо, что выпала командировка именно в этот город! Не пройдет встреча даром, друг Дурды, я тебе помогу, обязательно помогу. Но и ты мне поможешь, старый пенек! Все мы на собраниях и лекциях говорим правильные слова, детей по Макаренко воспитываем, степени ученые получаем, не изменяем жене со случайной женщиной, — и считаем себя безупречными людьми. А этого мало — мало! — чтобы быть человеком, и ты здорово помог мне разобраться в этом, друг ты мой и товарищ...

Беглиев легко вздохнул и улыбнулся.

— Медали-то, которыми хвастался, потерял? Или в пивной...

—Не надо, — прервал его Пейманов, — не надо так, Гаммар... Колодки — ношу, а медали дома хранятся, под замком. Или, по-твоему, для меня ничего святого не осталось?

— Прости, — сказал Беглиев, — я не хотел тебя обидеть, Дурды.

— Да я не обижаюсь, — улыбнулся и Пейманов, — чего с вас, ученых мужей, возьмешь? Разве что сигарету ароматную да стопку водки. Или богатым стал — денег жалко?

Ни следа от недавнего надрыва не осталось в словах Пейманова, они прозвучали весело, с дружеской шутливостью. И так же шутливо Беглиев ответил:

— Богатые — всегда жадные, это еще древние философы установили. Но для друга — рискну червонцем. Пошли!

Он рывком поднялся со скамьи и заскрипел костылями по дорожке. Пейманов, несколько смущенный таким поворотом событий, поспевал следом, оскользаясь клюшкой на крупном гравии и поглядывая по сторонам.

— Поверил, чертенок, не следит! — бормотал он себе под нос.

Беглиев сделал вид, что не слышит: он не хотел смущать друга, приятной была человечески светлая взволнованность Пейманова тем, что все-таки поверили ему и жена и сын, не таятся за деревьями, дожидаясь, когда его надо будет вести домой. Значит, друг Дурды, в самом деле сохранил ты здоровыми свои корни. А листья, они, брат, новые вырастут...

При выходе из парка Пейманов покосился на свой изжеванный костюм, помахал на ходу рукой, отряхивая приставшие к брюкам соринки.

— Куда идем-то, Гаммар? Тут поблизости пивной бар

есть, коли ты всерьез говорил. А пузырек, чтобы дешевле, в магазине взять можно.

— Да? — не оглядываясь, откликнулся Беглиев. — В магазине, говоришь? А зачем нам магазин, мы с тобой честь честью в ресторане посидим, шампанского выпьем.

Пейманову стало вдруг стыдно и как-то неуютно. Он не понял, почему это произошло, и не пытался понять. Перед его глазами появился стакан, наполненный чистой, как слеза, водкой. И сразу загудела похмельной тяжестью голова, сосущая спазма подступила к горлу. Он трудно глотнул и приостановился.

— Пожалуй, не надо, Гаммар. Обойдемся так.

— Идем, идем, — ободрил его Беглиев. — Как это у нас в роте говорили? Один солдат — солдат, два солдата — армия. А мы с тобой теперь вдвоем. Чего бояться? Встречу обмыть полагается — она у нас длинная будет, встреча эта.

— Долго пробудешь здесь?

— Не в этом дело. Завтра я встречу фронтовиков провожу у вас — такое у меня задание. И ты тоже пойдешь со мной на эту встречу.

— Не пойду! — потряс головой Пейманов.

— Почему? Посмотришь на людей, расскажешь им о своих боевых делах...

Пейманов с сердцем плюнул:

— Тьфу! Ты что, сдурел? «Боевые дела»!.. На позорище меня выставить хочешь? Да ведь на смех поднимут!

— Не поднимут! — твердо сказал Беглиев. — Кому придет в голову смеяться над солдатом? Глупости ты говоришь, Дурды.

Мысль взять Пейманова с собой на встречу бывших фронтовиков пришла в голову Беглиева неожиданно. И высказал он ее вроде бы шутя. Однако чем больше думал, тем тверже становилась уверенность: да, это нужно сделать обязательно, это может быть тот единственный

удачный случай, который поможет другу ощутить былую почву под ногами, поможет и ему, и другим произвести, как говорят, переоценку ценностей.

Некоторое время они шли молча. Возле гостиницы Беглиев сказал:

— Договорились?

— Погоди, — остановил его Пейманов. — Ты это серьезно?

— Чудак-человек, конечно, серьезно! Рюмку для встречи и я могу...

— Да нет, не о том! Насчет фронтовиков, завтра...

— А-а, обязательно пойдем вместе.

— Тогда вот что, — Пейманов помялся, — тогда сделаем так... отложим ресторан до другого случая. Я, понимаешь, лучше домой пойду... отосплюсь как следует. Не возражаешь?

Ему очень трудно было произнести эти слова. По его тону, по глазам, которые Пейманов прятал, Беглиев видел, как ему трудно отказаться от столь желанной и, пожалуй, в данный момент попросту необходимой стопки. Но Пейманов ломал себя, ломал тяжело, со скрипом, и Беглив, при всем понимании и сочувствии к состоянию друга, обязан был помочь ему.

— Не возражаю, — сказал он. — Жду тебя к девяти в гостинице. Позавтракаем вместе и пойдем. Только, пожалуйста, по-военному, без опозданий.

— Есть, товарищ командир, без опозданий! — улыбнулся Пейманов, но улыбка показалась Беглиеву какой-то искусственной, неискренней.

— Ты где живешь, Дурды? Далеко отсюда? — спросил Беглиев и сразу же понял, что сказал не в лад: лицо Пейманова передернула злая гримаса.

— Не веришь, значит? И ты не веришь?!

Он круто повернулся и захромал прочь.

— Дурды!.. Постой, Дурды!.. Погоди! — кричал ему вслед Беглиев, но тот даже не оглянулся.

Ругая себя за не к месту сорвавшееся слово, Беглиев пошел в гостиницу, втайне надеясь на благополучный исход.

Утром Пейманов не пришел.

Минуло полчаса после назначенного времени, пробило десять. Беглиев то сидел, пытаясь читать газеты, то нервно скрипел костылями по вестибюлю гостиницы. Дежурная недоуменно и сочувственно поглядывала на озабоченного чем-то столичного постояльца, не решаясь предложить ему свою помощь. А ведь могла бы помочь — ей было известно, где живет Пейманов, потому что жена его работает горничной в гостинице! Но она не знала, что нужно Беглиеву, а Беглиев не знал того, что известно ей, и поэтому скрипел и скрипел своими костылями, и с каждой минутой все больше портилось у него настроение. «Дурак старый! — казнился он. — Ученый осел! Это надо же было — ляпнуть такое! Учат нас, учат, а на поверку оказывается, что жизнь не проинтегрируешь, как математическую формулу, надо чуткости учиться, элементарной человеческой деликатности и внимательности. И этот гусь тоже хорош — психанул, полез в бутылку из-за пустяка...»

Образ бутылки вызвал у Беглиева более конкретные и неприятные ассоциации. Надо попытаться разыскать Дурды, решил он, время еще есть. И тут ему повезло — на улице он вдруг увидел ту женщину, жену Пейманова. Он хотел окликнуть, но забыл ее имя, и пока вспоминал, она сама подошла к гостинице — грустная, серенькая, неслышная, как осенняя пичуга.

— Здравствуйте, — тихо сказала она.

— Алма! — вспомнил Беглиев. — Погодите, Алма! Где Дурды?

Она остановилась, глядя в землю.

— Он вчера вернулся домой?

— Вернулся, — кивнула она. — Рано пришел. И трезвый.

— Он дома?

— Нету его. Вечером медали свои зубным порошком чистил. Костюм новый велел достать. Последний костюм, единственный... — Она вздохнула с привычной покорностью неизбежному. — А сегодня рано утром ушел. В баню, сказал. В парикмахерскую. А костюм — единственный. Извазюкает — не отчистишь потом.

И снова покорный вздох, от которого Беглиеву стало не по себе.

— Вы не волнуйтесь, Алма, — сказал он. — Мы с Дурды договорились вместе пойти сегодня на встречу фронтовиков. Ведь он же у вас фронтовик, он у вас, Алма, боевой солдат!

— Единственное святое, что у него еще осталось, — кивнула она, по-прежнему глядя не на Беглиева, а себе под ноги. — Достанет свои медали, думает, что я не вижу, и сидит смотрит на них. И лицо у него совсем другим становится. А потом пойдет к своим дружкам...

Она не договорила и отвернулась, вытирая пальцами навернувшиеся слезы.

— Подскажите, пожалуйста, где его искать.

— Вы не найдете. Я сейчас скажу дежурной — мне с двенадцати сегодня заступать, — и помогу вам, если хотите.

— Конечно, помогите! — обрадовался Беглиев.

Они обошли все ранние закусочные и пивные бары. По случаю субботнего дня там уже собирались любители «поговорить с пеной у рта», но Пейманова среди них не было. Алма недоуменно разводила руками: не понимаю, куда он мог запропаститься.

Вопреки тревожному ожиданию Беглиева, который никогда не умел успокаивать и утешать женщин, Алма почти всю дорогу молчала, не жаловалась, не плакалась на свои горести. И Беглиев проникался невольным уважением к своей добровольной помощнице. В ней чувствовалась незаурядная сила, в этой маленькой, тихой жен-

щине, и Беглиев подумал, что не случайно таким теплом оживлялся голос Пейманова, когда тот, рассказывая о себе, упоминал Алму. Видно, очень много значила она в его жизни, может быть, единственной опорой была, не позволившей упасть окончательно. «А куда еще падать? — возразил сам себе Беглиев. — Под статью уголовного кодекса? Нет, до этого Дурды никогда не мог бы дойти! Но где же он есть?»

Пейманова они нашли в парке. Он горбился на скамейке, вытянув протез, опершись локтем о колено здоровой ноги и опустив лицо в ладонь. Клюшка валялась на земле.

— Ну вот, видите, уже успел! — горестно воскликнула Алма.

Но он еще не «успел». Он был совершенно трезв, и глаза его, когда он поднял их на Беглиева, были глубокими и тоскующими. По всему видать, немало успел передумать Пейманов.

— Ты иди, Алма, иди домой, — не приказал, а попросил он.

И она послушалась, удивленная странной переменой в муже, пошла, то и дело оглядываясь.

Беглиев сел, протянул Пейманову пачку сигарет, они закурили.

— Хорошо-то как возле реки, прямо первозданная свежесть!

Пейманов кивнул.

— Я ее люблю, реку. Матросом немного плавал, мотористом. На пристани работал. На воде как-то и дышится просторнее, и на сердце не так паскудно... Слушай, Гаммар, не пойду я, наверное, с тобой.

— Струсил, солдат?

— Ты меня в трусости не упрекай. В чем другом, а в этом — неповинен.

— Тогда в чем дело?

— Не могу идти, понимаешь? Я тут всю жизнь свою по дню перебрал, как по речному камешку, и ревизию себе, и суд наводил. Прикидывал и так и эдак — кругом падает двадцать два. Надо жизнь сперва переиначить, а потом уж к людям идти. Как смотреть на них буду?

— А ты посмотри, посмотри людям в глаза, — сказал Беглиев. — И они пусть тебе в глаза посмотрят.

— Трудно.

— Да, трудно. Это — как первый шаг сделать в атаке на пулеметы. Но ведь ты же ходил в атаку!

— Ходил.

— Считай и сейчас, что слышишь свисток ротного. Жизнь, Дурды, не в одиночку переделывать надо, а вместе с людьми, в одиночку ничего не сделаешь, только пупок надорвешь.

Пейманов улыбнулся.

— Я на жилу крепкий.

— Вот и пойдем, фактом докажи, что крепкий.

— Тяпнуть бы для храбрости два раза по сто пятьдесят.

— Это, брат, не храбрость, а псих. Храбрость — это когда каждой клеточкой тела жизнь ощущаешь, а идешь на пули.

Люди уже собрались, и им пришлось пробираться к столу президиума через весь зал. Пейманов попытался было остаться, но Беглиев, опираясь на один костыль и зажав под мышкой другой, крепко держал его за локоть. Приходилось подчиняться.

Председательствующий, капитан из облвоенкомата, при виде Пейманова недоуменно поднял брови, но смолчал. Зато зал оживился, послышались шутливые, не совсем безобидные реплики. Весь красный, как кумач, которым был покрыт стол, Пейманов наконец уселся и стал вытирать платком обильно высыпавший на лице пот. Он

старался не смотреть в страшную глубину зала, сплошь заполненную одними глазами, но все равно ощущал на себе эти глаза и готов был провалиться сквозь землю. Он никогда не думал, что это так страшно — молча выйти перед людьми и ждать. Чего ждать? Он не знал. Но знал, что ждать надо. Идти в атаку на доты было легче.

Он не слышал, что говорил капитан из облвоенкомата, передавший слово Беглиеву, не слышал, что говорил Беглиев. Слова приобрели осмысленное звучание, когда была названа его фамилия, и он с той неосознанной жадностью, с какой утопающий хватается за соломинку, стал вслушиваться, что говорит о нем Беглиев.

Сперва казалось, что речь идет о ком-то ином, о другом Пейманове, который по странному стечению обстоятельств в точности повторял все, что когда-то сделал он сам. Этот Пейманов был честный и смелый парень, он поступал так, как следовало поступать, и, окажись он в этом зале, он чувствовал бы себя не тоскующим одиночкой, а единым со всеми этими заслуженными ветеранами войны, ощущал бы то великое братство, которое роднило солдат на фронте.

Но того Пейманова здесь нет.

А может, все-таки есть? Иначе почему бы глаза в зале потеряли убойную силу пули и стали обычными человеческими глазами? И реплики стали благожелательными словами удивления и уважения. И аплодисменты... Разве это не Гаммару аплодируют? Но Гаммар снова говорит о нем, о Дурды Пейманове, и люди снова приветствуют его слова. И постепенно Пейманов ощущал, как с него осыпается что-то, какая-то привнесенная, чужая шелуха, и становится легко и радостно. Он словно бы голый оставался перед людьми, но эта обнаженность была не постыдной, не страшной, а скорее — желаемой. Щипало в носу, першило в горле, но откашляться он не смел — и сидел, глядя в зал с возникающим, крепнущим чувством сопричастности к тому, что рассказывал

Беглиев, к людям, сидящим в зале, к людям, которые были на улице и вообще где-то далеко — и совсем рядом, локтем коснуться можно.

А сидящие в зале слушали рассказ Беглиева и тоже смотрели на Пейманова с интересом, словно видели его впервые. Некоторые недоверчиво переглядывались, другие пожимали плечами, чувствуя за собой какую-то невольную вину перед этим новым, напряженно сидящим за столом президиума человеком, третьи подавали ободряющие реплики.

— Говори же! — требовал Беглиев. — Товарищи ждут.

Пейманов неловко встал, откашлялся наконец, увидел улыбки на лицах, и эти улыбки не отталкивали, не вызывали обычного раздражения, они располагали к откровенности, а откровенность комом стояла у горла, и он не решался произнести слово, чтобы вдруг не заплакать от радостного облегчения, от ощущения живой жизни и своей необходимости в ней.

Он стоял молча. И зал молчал в ожидании. В хорошем, дружелюбном ожидании. Но все же оно требовало тех сил, которых у Пейманова пока не было.

— Я потом... — хрипло сказал он. — Я в другой раз...

И его поняли.

ОГУЛЬГЕРЕК-ЭДЖЕ

В теплой темноте спальни уютно посапывали внучата, тихо дышала сноха. Огульгерек-эдже прислушалась к этим дорогим ее сердцу звукам, улыбнулась своим мыслям.

Скрипнуло снаружи, на веранде. Она тотчас насторожилась, бросила взгляд на дверь комнаты. Все было как надо: предохранительная цепочка накинута. Эта цепочка

служила постоянным предметом подшучивания снохи, хотя сама же Айнабат и была причиной страхов свекрови.

Огульгерек-эдже никогда не ложилась спать до возвращения сына и нередко просиживала за полночь, дожидаясь, пока Агали покончит со своими военными делами. По ей одной ведомым соображениям, она не запирала входную дверь, пока сына не было дома. Сноха опасалась и пугала ее: «Вы, мама, дождетесь, что заберутся жулики и все у нас утащат, а заодно детей перепугают!»

Огульгерек-эдже была не из робкого десятка, постоять за себя могла. А тут, поколебленная опасениями снохи, стала прислушиваться к новостям, что досужие соседки приносили с базара. В конце концов — от греха подальше — вызвала мастера, который сделал предохранительную цепочку на комнатной двери. «Зачем она здесь? — недоумевала Айнабат.— На наружной двери надо было!» Но переубедить Огульгерек-эдже было сложно.

Она подошла к окну. Ничего не было видно, лишь ее лицо отразилось в черном зеркале стекла. Даже троллейбусы уже не ходили. «Трудная у него работа, — подумала Огульгерек-эдже о сыне. — Утром ни свет ни заря бежит в военный городок, возвращается поздно. Зачем он только офицером стал? Вон сосед, что этажом выше: в конторе работает, на перерыв каждый раз домой является, в шесть часов уже чай на топчане пьет. А этот — ни поспать, ни покушать толком. Пусть идет в контору работать! Так ему и заявлю!» Но тут же она вспомнила, каким красивым бывает Агали в своей парадной форме с орденами и медалями, как любит он свою нелегкую и беспокойную командирскую должность, и вздохнула.

Да, он сам себе выбирал профессию. Когда она родила его, когда Халлы, муж, принимал поздравления многочисленных гостей, она мечтала о самой мирной и самой высокой должности для своего первенца — хотела,

чтобы он стал учителем. Она укреплялась в этой мысли год от года, видя, каким разумным, сообразительным растет сын, как хвалят его и соседи, и директор школы. Украдкой суеверно плевала за ворот платья: «Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазили...» А Халлы смеялся: «Да что ты, мать! Разве такому батыру страшен недобрый глаз? Его даже пуля не возьмет!» Огульгерек испуганно отмахивалась: «Не искушай судьбу дерзким словом, отец!..» А сын все рос да рос, все хорошел, в плечах раздавался. И настал день, когда он пришел к отцу с матерью за родительским словом: «Разрешите поступать в военное училище!»

Огульгерек обомлела от неожиданности, слезы брызнули. Не то чтобы боялась отпускать сына в аскеры, а уж очень было жаль, что мечта рухнула. До того жаль, что хоть в голос кричи! А Халлы такой неразумный! «Не плачь, — говорит, — мать, это счастье. В нашем роду никогда военных не было, а красный командир — это все равно что сердар». Пыжился, неразумный, храбрость свою показывал, будто чуял сердцем лихую годину. И на войну уходил, тоже бодрился: «Через месяц жди известие о полном разгроме фашистов!» Дождалась. Да не той вести: похоронка пришла в декабре сорок первого; сразила, как вражья пуля. А когда оправилась от потрясения, только и жила мыслями о сыне, только и молилась, чтобы аллах сохранил ему жизнь.

Аллах как будто прислушался к мольбе матери. И даже когда — в сорок третьем это уже было — аульный почтальон, пряча глаза, вручил ей дурную бумажку, она не поверила. Нет, не может ее Агали пропасть без вести. Ну, ранили, пусть даже убили — это с грехом пополам понять можно. А то «пропал», да еще и «без вести». Иголка пропадет — полдня ее ищешь, пока найдешь. Глупый мирза бумажку писал, торопился, что шурпа остынет, вот и наплел невесть что!

И она оказалась права. Не успели еще глаза просох-

нуть от недоброй вести, как пришло письмо от Агали. Вот вам, маловеры!..

Сдвинув очки на кончик носа, Огульгерек-эдже держала перед собой журнал. Глаза ее скользили по строчкам. Но от прочитанного ничего в голове не оставалось, потому что чтение это было самообманом, попыткой уйти от тревоги ожидания. Казалось бы, волноваться нет причины. Так, как сегодня, бывало уже столько раз, что ни верхний сосед в своей конторе, ни какой иной бухгалтер сосчитать не сумеют. А вот материнскому сердцу все нет и нет покоя. Глупое какое-то сердце, суматошное! Ну чего тебе надо, скажи, пожалуйста? Чего ты там замираешь и покалываешь? Идет он, что ли?

На веранде скрипуче пропела дверь. Агали не раз порывался смазать петли, да Огульгерек-эдже противилась: не надо, пусть себе поют, так веселее.

Она проворно поднялась, уронив на пол очки и не став их поднимать. Но возле двери почему-то засомневалась и, не сняв цепочки, спросила в щель:

— Ты, что ли, Агали?

— Все полуночничаешь? — отозвался он. Махнул последний раз щеткой по сапогам, устало разогнул спину.

Огульгерек-эдже вышла на веранду.

— Жив-здоров, сынок? Все в порядке у тебя?

Ему было не до разговоров, он здорово устал после разбора штабных учений. Но мать спрашивала не праздно. Ее в самом деле интересовало все, связанное с ним. И поэтому он сказал:

— Все хорошо, мама. Учения прошли успешно. Оценка — отлично.

Она жаждала услышать больше, но всегда довольствовалась малым, потому что понимала: военная служба — это военная служба, а не контора какая-нибудь.

— Чего не ложишься? — мягко упрекнул он, раздеваясь.

Она прииняла обеими руками его китель с полковничьими погонами, подышала на иих, сдувая пыль с плотиой золотой вязи.

— Сон не идет, сынок.

— А меня так прямо с иог валит, — призиался ои. И пошутил: — Давай меняться? Ты— командовать вместо меня, а я — домашними делами ведать.

— Я командовать не умею и не люблю, — отказалась она. — Мое дело — кухня да внуки. Сейчас ужин разогрею, кормить тебя стану. Вот полотеице чистое — умывайся.

Шаркая задииками стоптаиных домашиих тапочек и зевая во весь рот, появилась заспанная и румяная Айиабат. Почти на ходу неуловимо привычным движением прижалась щекой к щеке мужа.

Огульгерек-эдже отвернулась, всем видом показывая, что ей до них нет никакого дела. Ей было приятно, что, прожив вместе столько времени и нарожав целую кучу детишек, они сохранили какую-то первоначальность чувств, юношескую непосредственность и застенчивость. Потому-то она так демонстративно и отворачивалась: пусть не стесняются. Однако в глубине души, сама себе ие сознаваясь, ревновала сыиа к снохе: к ее молодости, к ее умеиию быть ему нужной и приятной, даже к ее способности спать, когда его нет дома.

— Не путайся под ногами! — прикрикнула она на Айнабат, когда та суиулась было к плите. — Чего подхватилась? Без тебя управиться некому? Спи давай — целый день со стиркой не разгибалась. Иди, иди! Сама и чай вскипячу, и сделаю все что надо.

— Другая бы спорила... — Айнабат весело чмокиула свекровь в ухо.— Спасибо, мама. Пошла сон досматривать. Ты как, Агали?

— Иди, иди, — сказал он с материиской интоиацией, — расшумелись мы тут, еще детей разбудим.

Есть не хотелось совершенно, он хорошо поужинал в солдатской столовой. Да и голова начала разбаливаться — результат давнего ранения. Однако нельзя было обижать мать, и он ел, притворяясь, что ему очень вкусно. А она видела, что он притворяется, но помалкивала: пусть себе. С аппетитом поест или вприглядку, а все — поел, все — на пользу.

Он взялся за чайник. Она сказала:

— В твоем подчинении много командиров. И по званию они младше тебя и по годам.

— Ну и что? — не понял Агали.

— Поручил бы им работу, которую вечером делают. А сам бы домой пораньше.

Он с трудом сквозь боль улыбнулся, отрицательно покачал головой.

— А что, разве нельзя? — настаивала она.

— Нельзя. Нынче военное дело очень сложное, каждому из нас приходится много заниматься. Иначе ничего не выйдет.

— Что ж, — согласилась Огульгерек-эдже, — можно и недоспать, лишь бы войны не было. Пишут вон да по радио говорят о разоружении. Как думаешь, всерьез это или людей малость успокоить?

— Всерьез, мама, всерьез... Такими вещами не шутят.

— И я то же думаю. Святое дело — без войны жить.

Агали отставил недопитую пиалу.

— Ты извини, мама... что-то голова побаливает.

Она быстро и тревожно глянула ему в лицо, ладонью коснулась лба.

— Да нет, — успокоил он, — не простудился. От усталости, от волнения. Полежу — пройдет.

— Полежи, — одобрила Огульгерек-эдже. — Сейчас лекарство тебе принесу.

В комнате, где висела аптечка, не горел свет. Еще днем Айнабат наладилась лезть на стремянку — менять перегоревшую лампочку. Но Огульгерек-эдже живо тур-

нула ее. Еще чего! По всем признакам, у нее маленький должен быть. А ну как загремит с этой стремянки — тогда что? Сама Огульгерек-эдже по лестнице лазить уже не рисковала, а соседский Мурадка — мастер на все руки от скуки — куда-то запропал, целый день не видно было.

Пока она чиркала впотьмах спичками, отыскивая нужные таблетки, пока то да се, прошло минут пять. Вернувшись, она увидела, что Агали прикорнул на диване. Дыхание у него было прерывистое, нездоровое, и Огульгерек-эдже печально покивала сама себе: всегда он так — не бережет себя, и муж, Халлы, точно такой же был...

Она передвинула один из стульев поближе к дивану, поставила на него стакан с водой, положила две таблетки на листок бумаги.

На столе стыл под салфеткой чайник. Она плеснула себе на донышко пиалы густого терпкого настоя. Неторопливо двигаясь, стараясь не звякнуть, не брякнуть, убрала со стола. Хотела идти отдыхать, но задержалась взглядом на лице сына...

...Агали проснулся, когда уже начинало светать.

Затененный цветастым материнским платком, горел одинокой лампочкой торшер. Остальные две были выключены. Огульгерек-эдже маленьким комочком скорчилась на стуле и не двигалась, не шевелилась даже от дыхания.

У полковника разом пересохло во рту, нехорошо дернулось сердце.

— Ма... мама! — сиплым срывающимся шепотом позвал он, готовый ко всему.

— А?.. Иду, сыночек! — сразу же отозвалась она. — Вот твои таблетки...

— Ты так и не ложилась? — удивился он, еще не придя в себя окончательно.

— Нет, — сказала она виновато, — не успела.

— Что же ты делала?

— Ждала, когда ты проснешься. Ты на головную

боль жаловался. Вот я и хотела тебе лекарство подать. Прошла голова?.. Ты уж не сердись на меня, сынок, ладно?

«Мама! — хотел он крикнуть. — Родная ты моя!..»

Но он не произнес ни слова, потому что мягкий ком в горле мешал говорить, и все слова, которые могли быть произнесены, ничего не стоили рядом с тем, что чувствовал он к этой маленькой слабой женщине — своей матери.

Он долго и ненатурально кашлял, отводя глаза в сторону. Однажды она была очень больна и металась в жару, а он сидел возле нее, меняя компрессы. Потом она уснула. И он забылся рядом. А проснувшись внезапно, увидел, как она изо всех сил старается дотянуться, чтобы укрыть его ноги своим же одеялом.

Тогда он не сдержался, целуя ее горячие сухие руки. А сейчас не хотелось показать слабость, хотя не слабостью это было, а огромной человеческой нежностью. Он пробормотал: «Закурить бы надо...» — и поспешно, пока мать не ответила, пошел на веранду за папиросами. Он спиной чувствовал на себе ее взгляд, и спине было тепло.

А Огульгерек-эдже качала ему вслед головой и сокрушенно думала: «Совсем нервный стал, впечатлительный. Разве бы я подала вид, что заметила его слезы?..»

СГОВОР

Старуха Эне тихо позвала соседку, которая копалась в огороде. Когда та подошла, вытирая руки концами платка, она сообщила доверительно:

— Слышала? Бяшим и Дурли решили уничтожить весь род Батыра-ага. И все из-за его сына...

— Ай, алла! — Соседка испуганно оглянулась.

— Подожди, еще не все, — продолжала Эне. — Ут-

ром я сказала об этом Батыру-ага, а он начал меня ругать. Вах, значит, они сговорились погубить бедную Айгуль.

— Ай, алла, — простонала соседка. — Айгуль такая красавица!..

Батыр-ага действительно набросился на пронырливую Эне, назвал ее сплетницей и даже кулаком погрозил. По дороге домой он с тревогой обдумывал услышанное и, войдя в комнату, бросив в угол шапку, молча, ни на кого не обращая внимания, принялся стаскивать сапоги. Жена Мехри-эдже сразу почуяла недоброе, но расспрашивать ни о чем не решилась. Налила воду в умывальник и стала собирать обед.

— Обедать дома не будем, — бросил на ходу Батыр-ага. — Приготовь мой костюм с орденами. И сама собирайся — в гости. Где Корпе?

— Учит уроки.

Батыр-ага насупился пуще прежнего, потребовал чаю. Сел на кошму, наполнил пиалу свежезаваренным чаем, слил его обратно в чайник, чтобы крепче заварился, и, подождав, снова налил пиалу. Обычно, придя с работы, он делился новостями, интересовался успехами сына. Сегодня Батыр-ага молчал, и так долго, что даже Корпе удивился тишине в доме. Он встал и подошел к двери.

— А, дорогой мой, — сказал Батыр-ага, — все занимаешься... Что же ты сейчас читал? Про любовь?

— Посмотрите-ка на него! — вмешалась в разговор Мехри-эдже. — Сын в институте учится...

— А ты слышала, что люди говорят? Нет? Сидишь, как клушка, дома и ничего не знаешь!

Батыр-ага стукнул себя кулаком по колену и сказал Корпе:

— А ну подойди ко мне, разговор есть.

Он опять сел на кошму, рядом устроился сын.

— Чего молчишь? — не поднимая глаз от пиалы, спросил отец.

— Я не знаю, о чем говорить.

Батыр-ага встретил взгляд сына, подождал, пока тот опустит глаза:

— Врешь, знаешь!

Мехри-эдже всплеснула руками:

— Что ты пристал к ребенку?

— Этот «ребенок» позорит мои седины!

Корпе встал.

— Если не скажешь, в чем дело, я уйду.

— Сядь, — приказал Батыр-ага. — Я не собираюсь играть с тобой в прятки. Все село только и говорит, что сын тракториста Батыра-ага собрался жениться. Почему же Батыр-ага узнает об этом последним?

— Во-первых, я еще не собираюсь жениться; а во-вторых, мне казалось...

— Тебе казалось! — перебил сына отец. — Доучился... Не девушке надо было говорить, а отцу и матери. Как нам теперь идти к Бяшиму-ага?

— Не надо вам никуда ходить, — начал Корпе. — Мы сами договоримся...

— Видишь, — обратился Батыр-ага к жене. — Он считает себя умнее отца. Собирайся, пойдем сватать.

...Когда они пришли к почтальону Бяшиму-ага, его дочь Айгуль на веранде читала книгу. Она так увлеклась, что не сразу заметила гостей. Девушка была хороша, Мехри-эдже залюбовалась ею. Батыр-ага кашлянул, Айгуль встрепенулась и убежала в комнату.

— Ах, красавица, — прошептала Мехри-эдже. — Скажешь луна — так это она, скажешь солнце — тоже она...

Хозяин дома встретил их не очень приветливо, но, по обычаю, пригласил сесть, попросил жену подать чай. Пока взволнованная хозяйка вместе с дочерью готовили угощение, в комнате стояла тишина. Наконец Бяшим-ага не

выдержал и спросил, как идет в колхозе пахота. Батыр-ага с важностью ответил, что вспашка уже заканчивается.

Тем временем Дурли-эдже расстелила сачак[1], поставила поднос с чуреком, пиалы, чайники. Она не скрывала радости по поводу прихода гостей и все говорила, говорила... О погоде, об урожае, о соседях, о том, что председателя зачем-то вызвали в район и о многом другом; она словно боялась, что, если заговорит муж, будет беда...

И он заговорил:

— Помолчи. Люди по делу пришли, а ты мелешь ерунду...

А у гостей спросил:

— С чем пожаловали?

— О сыне пойдет речь. Ты же знаешь нашего Корпе?

— Даже больше, чем нужно.

Хмурый вид хозяина не обещал ничего доброго.

— Взрослым стал сын, сам понимаешь, женить пора, — пояснил тихо Батыр-ага. — Мы посоветовались с женой и решили наведаться к тебе.

У Бяшима-ага просветлело лицо, но ненадолго, и он сказал по-прежнему жестко:

— Если бы сегодня не пришли, то... Все село болтает, что они снюхались, — слушать противно, а вы делаете вид, будто это не ваш сын...

— Ну, ты из зайца верблюда делаешь, — усмехнулся гость. — Честное слово, я ничего не знал. Как дошли до меня слухи, так я — к тебе.

— Правильно сделал. Хотя дети теперь сами все решают, мы должны чтить законы стариков. Разве я поведу к вам дочь?

— Вот-вот! — подхватил Батыр-ага. — Мы и пришли узнать твое решение.

---

[1] **Сачак** — скатерть.

— И о выкупе договорнться, — вставнла нерешительно Мехрн-эдже.

Батыр-ага глянул в глаза хозяину н увидел в ннх злой огонь. «Эх, заломнт такую цену, что из долгов потом не вылезешь, — подумал он. — Айгуль-то ведь дейстнтельно красавица».

В задумчнвости хозянн дома отхлебнул чаю н сказал:

— Помнншь, Батыр, ехали мы с фронта... Звали пулеметчнка Макара с собой в Туркмению. А он ответил: «Я человек однноокнй, мне хоть куда; но только у вас, говорят, невест покупать надо. Верно это?» Что ты ему сказал тогда? Если забыл, сходи в кузницу и спросн у Макара. Он помннт.

— Не забыл, — потупнв взор, буркнул Батыр-ага.

— Обманул, выходнт, фронтового друга. Ему говорнл одно, а сам для сына... покупать собрался...

Мехрн-эдже, не поннмая всего толком, проговорнла:

— Хоть на свадебный наряд...

— Детьмн не торгую. Слышите? Мне в старых обычаях дорого уваженне детей к родителям. А деньги вашн не нужны. Свонм трудом прожнву.

Плечистый и длинноногнй Батыр-ага встал с ковра, подошел к своему будущему свату:

— Простн, друг, еслн обндел. Мы ведь житье-бытье тоже понимаем. Пусть дети комсомольскую свадьбу играют. Повеселнмся...

На следующее утро старая Эне по секрету сообщнла соседке через дувал:

— Готово дело, сговорились. Слышала. Мимо случайно проходила н все слышала. Подкупнли Бяшнма-ага. Сколько далн — не разобрала, а только по рукам ударили. Я-то знаю, что для едннственного сына Батыр-ага не поскупнтся. А денег у него много.

Соседка, позевывая, сказала:

— Ай, алла! Айгуль такая красавица!..

Некоторое время они сидели молча.

Нурягды вертел в руках только что прочитанное письмо, словно между его строк хотел высмотреть еще что-то, не дописанное братом.

Ыклым-ага остановившимся взглядом смотрел куда-то в пространство, мимо сына, покручивая пальцами кончик своей редненькой — волосок к волоску — бородки.

Алма, склонившись над вышивкой, делала вид, что всецело занята узором, который возникает под ее пальцами на тюбетейке.

Маленький Шатлык вообще не слышал, о чем идет речь, — он был занят важным делом: из деталей «Конструктора» мастерил неведомую, фантастическую машину, на которой собирался полететь на Луну.

Наконец Нурягды шумно вздохнул, положил письмо на кошму и потянулся за сигаретой.

Ыклым-ага задумчиво сказал:

— Сердар... А какой он, Сердар этот? Маленьким помню его, вот как Шатлык, а то и еще меньше. Большим не помню.

— Мудрено помнить, — невнятно пробормотал Нурягды, раскуривая сигарету, — всего раз и привозил его Йылым.

— Да, — согласился старик, — один раз. Сам часто у нас в гостях бывает, а вот внука — не привозит.

Поискав глазами пепельницу, Нурягды стряхнул пепел на письмо.

— Йылым тут ни при чем, отец. И Сердар не верблюд, чтобы его на поводу из города в село тащить. Если сам не хочет...

Ыклым-ага осторожно, за кончик потянул листок письма к себе, ссыпал с него пепел на землю. Потом налил чай в пиалу, отхлебнул, пошевелил языком во рту,

чтобы полнее почувствовать вкус терпкого настоя, и сказал:

— Дерево должно расти там, где оно упало семечком. Так мы думали раньше. А теперь сыновья, взрослея, уходят в город. И это тоже мы считаем правильным. Человек не дерево — ему простор нужен, дорога нужна... У Сердара в городе — работа, он там родился и вырос. Какой путник идет к цели по собственному следу?

— Хе! Теория! — усмехнулся Нурягды и щелчком бросил окурок в сторону арыка. — Тебя, отец, послушать — так все мы должны из колхоза сбежать в город, одних вас, стариков, тут оставить. «Вырос в городе... работа в городе»! Он ведь механизатор, специалист сельского хозяйства. Сельского, понимаешь? Он что, на городских улицах комбайны водить будет?

Ыклым-ага кивнул.

— Да-да, по специальности ему бы в самый раз в нашем колхозе работать. Зампреда по механизации у нас до сих пор нет. Вчера был в поле — комбайн стоит, девчонка возле него возится, вся мазутом измазанная, Чары хромого дочка. Почему, спрашиваю, агрегат твой в самую .страдную пору не работает? А она зубы скалит: «Хорошо, дедушка, что вы пришли, помогите мне комбайн наладить, а то сама я не разберусь никак». Вот оно какое дело, сынок. Комбайн, как ты говоришь, не верблюд, его палкой не подгонишь, там винтиков всяких, шестеренок — это же понимать надо, механиком надо быть.

— Вот именно, — сказал Нурягды. — А механики в городе пивом торгуют.

— Сердар пивом торгует?! — вскинулся старик.

Нурягды махнул рукой.

— А-а... Ну, пусть не пивом, все равно в торговой сети где-то работает. На кой черт, скажи, пожалуйста, сдалась ему эта торговая сеть?

— Осердясь на вошь, не стоит жечь все одеяло, сы-

нок,— Ыклым-ага булькнул остатками заварки в чайнике и покосился на сноху.

Алма отложила рукоделие в сторону, беззвучно встала и ушла в дом. Через минуту она вернулась, поставила свежезаваренные чайники перед свекром и мужем. И снова занялась рукоделием.

Ыклым-ага одобрительно хмыкнул, долил пиалу горячим чаем и сказал, как бы продолжая прерванную мысль:

— Торговля — дело нужное, полезное дело, без торговли жить нельзя, а про нее и «Токмак» пишет, и газеты критикуют, и мы к делу и не к делу ругаем. Это, сынок, похоже на то, как один умник на грача рассердился, а скворца убил: ты, мол, тоже черный.

— Ты либо не понял меня, отец, либо лукавишь, — досадливо поморщился Нурягды. — Что я, совсем уж дурак, чтобы с больной головы на здоровую сваливать? Не торговлю я ругаю, а Сердара. Если ему торговое дело нравится, надо было и учиться на него!

— Зачем сердишься? — миролюбиво сказал Ыклым-ага. — Может, Сердару сперва одно нравилось, а теперь — другое.

— Мне тоже на сцене представлять нравится, а все же я не сбежал в театр, бригадиром вкалываю! — уже остывая, пробурчал Нурягды.

Ыклым-ага протянул сыну свою пиалу.

— Пей... Очень хорошо, что не сбежал. И Сердар найдет свою дорогу. Непременно найдет.

Нурягды засмеялся.

— Добрая ты душа, отец!.. Конечно, он свою дорогу найдет, недаром его Сердаром назвали. А вот найдет ли он дорогу к нашему дому — это еще вопрос.

— Мы поможем ему найти. Встретим его на вокзале.

— Кого встретим, дедушка? — подал голос маленький Шатлык.

— Брата твоего, Сердара. В гости к нам приезжает,

— Ура! Сердар приезжает! — Шатлык вскочил, как подброшенный пружиной. — Мы с ним играть будем, да, дедушка? Я тогда Мурадку с собой не возьму, Сердара возьму! Ур-ра!

— И куда это ты собираешься взять его? — полюбопытствовал дед.

— На Луну! — закричал Шатлык и показал на свое сложное сооружение из «Конструктора». — Вот ракета, видишь? Космическая! Ка-ак полетит!..

Алма ласково шлепнула сына по бритой макушке.

— Угомонись, космонавт, пиалу вон с чаем опрокинул на кошму. Задаст тебе дедушка трепку.

Чтобы не обидеть внука, Ыклым-ага согнал с лица улыбку и сказал деланно серьезным тоном:

— Что уж тут пролитый чай... Чай — мелочь, если человек на Луну лететь собирается. Только штаны новые надеть надо.

— Зачем штаны? — удивился Шатлык.

— На Луне холодно, — пояснил Ыклым-ага, — а ты вон на попке две дыры каких протер. Замерзнешь.

Шатлык потрогал себя рукой сзади, посмотрел на мать, подумал и сказал:

— Я скафандр сделаю.

— Ну, если скафандр — тогда говорить не о чем! — и не выдержав, Ыклым-ага рассмеялся, сгреб барахтающегося внука в охапку.

Уже смеркалось, когда поезд подошел к станции.

«Неужели никто не встретит?» — подумал Сердар, скользя взглядом по стоящим на перроне людям. Его нисколько не прельщала перспектива ночевки в райцентровской гостинице, но в то же время он не рискнул бы ночью добираться до села и разыскивать там дом деда.

«Лучше уж здесь подождать до утра, не срамиться перед людьми», — подумал он. И сразу же увидел двух

человек, которые стояли у столба с помаргивающей люминесцентной лампой. Они? Конечно, они — дед и дядя Нурягды!

Сердар решительно направился прямо к ним, и по встречным улыбкам на их лицах понял, что не ошибся, облегченно перевел дыхание.

— Здравствуйте, дедушка!.. Здравствуйте, дядя Нурягды!..

— Признал-таки деда, шельмец! — удовлетворенно сказал Ыклым-ага и, рассматривая Сердара, покачал головой: — Копия. Точная копия отца. Яйлыму двадцать лет сбросить, и вы с ним — как два ягненка от одной матки.

— А отец говорит, что я на вас похож, дедушка.

— На меня, говоришь? А сам-то он почему не приехал?

— Занят он, дедушка. У них какая-то научная сессия.

— Ну-ну... научная, значит... Как там у вас, все благополучно? Все живы-здоровы? Живем-то: кто — на Кульзуме, кто — в Чин-Мачине — караванный путь долог.

Сердар изумленно поднял брови.

— Что за слова такие, дедушка, — Кульзум... Чин-Мачин?

Старик усмехнулся. Не обидно, но все-таки с чувством превосходства.

— Ты, сынок, механические науки превзошел, а я по старинке говорю, по-дедовски.

— Будет тебе, отец, эрудицией своей гостя смущать, — вмешался в разговор Нурягды. — Садитесь-ка в машину да поехали домой. Будет еще время наговориться.

«Волга» вырулила на гудрон большака.

Сердар опустил стекло, подставляя лицо освежающим ударам встречного воздуха.

— Вы, кажется, бригадиром работали, дядя Нурягды?

— А я и сейчас бригадир, — отозвался тот, полуобернувшись к заднему сиденью. — Отец не разрешает профессию менять. А почему спросил?

— Я думал, шоферите.

— Это не колхозная машина, сынок, — с гордостью сказал Ыклым-ага, — это наша личная «Волга».

— Неужели? Вот здорово! — восхитился Сердар, но старик не уловил искренности в его голосе и подумал, что городского парня, да еще работающего в торговле, вряд ли удивишь личной автомашиной. А чем его вообще можно удивить? Да и нужно ли удивлять? Пусть сам посмотрит все, потрогает собственными руками. Он городской житель, это — так, но он человек, а не пенек бесчувственный, умный человек. И прекрасно сам разберется, что нового, что хорошего появилось на селе, как изменились и жизнь и люди.

Человек — он гордый, любит самостоятельность мышления. А когда его тычут носом туда или сюда, говоря: вот это — хорошо, это — плохо, — он из гордости будет противиться даже очевидному. Пусть сам дойдет до всего своим умом.

Так размышлял Ыклым-ага, изредка поглядывая на примолкшего внука. Но не сдержался и, когда Сердар, кивнув в сторону звездной россыпи электрических огней, спросил: «Это все еще пригород райцентра?» — старик приосанился и ответил:

— Это наш колхоз, сынок! Он скоро лучше райцентра будет.

— Ко-о-олхоз? — с искренней заинтересованностью произнес Сердар.

И обрадованный Ыклым-ага закивал:

— Колхоз, колхоз, не сомневайся. Вот днем на него сам посмотришь. И универмаг у нас есть большой. И две школы есть. И... В общем, сам все увидишь.

...Сердар проснулся на рассвете — неспокойно спалось на новом месте.

Вытянув перед собой руки, чтобы не наткнуться на что-нибудь впотьмах, и ориентируясь на тонкую полоску света у дверного порога, он прошел через комнату.

Несмотря на раннюю пору, Нурягды на кухне уже приканчивал завтрак.

— Чего подхватился? — спросил он племянника.— У нас блохи вроде бы не водятся.

— Не спится что-то, — сипловатым спросонья голосом сказал Сердар. — А вы чего так рано встали?

— У нас работа такая — ранняя, — Нурягды отер ладонью рот, — отсыпаться зимой будем... Ну, ладно, я побежал. А ты, коли уж встал, походи, подыши утренним воздухом. Весьма, я тебе скажу, полезный воздух м-м-м... для городского жителя.

Сердар медленно пошел по участку. Сорвал на ходу виноградину и зажмурился от удовольствия — такой прохладной сладостью растаяла она во рту; разве сравнишь с тем виноградом, что мать с рынка приносит?

Прозрачная в рассветной розовости слива сама просилась в руки — Сердар сорвал и ее. Она оказалась еще вкуснее виноградины — сочная, нежная, ароматная.

На бахче Сердар пощелкал толстобокий серый арбуз, попробовал на вес янтарно-желтую, лопнувшую от избытка сока дыню и вышел на люцерновое поле. Раздувая ноздри, он сделал несколько глубоких вдохов. Было такое впечатление, что закружилась голова от чистого, ошеломляюще свежего и сильного запаха. Был ли то аромат люцерны или так душисто пахла сама роса, в каплях которой уже играли первые отблески зари, — Сердар не знал. Он и не старался узнать. Просто дышал, еще не веря, что можно дышать с таким наслаждением.

Когда он вернулся в дом, из кухни высунулась Алма.

— Завтракать будете.., будешь завтракать? — поправилась она.

— Спасибо, гельнедже[1], — отказался Сердар, — не привык так рано есть.

— Ну, тогда иди поспи еще немного, — посоветовала Алма.

— Вряд ли получится, — усомнился Сердар. Однако уснул неожиданно быстро и крепко.

Когда он проснулся, солнце уже вовсю пробивалось сквозь кем-то заботливо опущенную штору. Возле окна, там, где на ковре плескалась веселая солнечная лужица, сидел шестилетний бутуз и, сосредоточенно сопя, ковырялся в сложном металлнческом сооружении. Видимо, почувствовав на себе взгляд, поднял голову, посмотрел на Сердара и спокойно пояснил:

— Ракета, виднщь?

Подумал немного и добавил:

— Космический корабль.

— Угум... понятно... — кивнул Сердар. — А ты — кто?

— Я — Шатлык.

— Хорошее у тебя имя.

— И у тебя тоже хорошее, брат Сердар.

— Разве ты меня знаешь?

— Тебя не знаю. Имя твое знаю.

— Что ж, спасибо и на этом... Мама где?

— Мама ушла на работу. Дедушка на строительстве. Я рано встал, а ты все спишь.

— Прннимаю критику, брат. Где тут у вас умываются?

— Пойдем, покажу, — Шатлык направился к двери. На ходу он сообщнл: — Я уже умылся. Сам. И кашу съел. Рисовая, с молоком. А тебе завтрак мама на столе оставнла. Тебе она жарнла что-то.

— Хочешь со мной за компанию? — предложил Сердар.

---

[1] Гельнедже — обращенне к жене старшего родственника; тетушка.

Шатлык энергично замотал головой.

— Не хочу!.. Мурадка говорит, что я и так толстый, ракета меня не поднимет. Врет он! Я не толстый. И ракета у меня сильная.

— Значит, космонавтом хочешь стать?

— Да.

— Хорошее дело, одобряю. — Сердар последним кусочком чурека начисто вытер сковородку и с удовольствием съел его. — Что же мы с тобой делать станем, брат Шатлык?

— Дом смотреть будешь? — полувопросительно предложил мальчик.

— Давай смотреть дом, — согласился Сердар, и они пошли по комнатам. Шатлык объяснял:

— Здесь, где ты спал, гостиная... Это — наша общая комната... Тут папа с мамой спят... Здесь — дедушка отдыхает. Это висит его фронтовой портрет. Видишь, грудь вся в орденах и медалях... А там, где ты умывался, — это веранда.

— Большой у вас дом, — Сердар остановился у шкафа с книгами, пробежал глазами корешки. — И книг у вас много.

— Ты во Дворец культуры наш зайди, — сказал Шатлык. — Там знаешь сколько книг! Рядами стоят и — до самого потолка!

— Ты-то откуда знаешь? — удивленно спросил Сердар. — Ты что, читать умеешь?

Шатлык посопел немного и сказал:

— Скоро научусь. Я уже три буквы знаю. Пойдем, поле тебе покажу?

Сердар чуть было не проговорился, что уже был там, но поймал себя на полуслове: этого потешно серьезного братишку не следовало огорчать.

Роса на люцерновом поле уже высохла. Но зато там, привязанный к колышку короткой веревкой, стоял лупоглазый теленок и просительно взмыкивал.

— Что, теля, иа голодиом пайке сидишь? — усмехиулся Сердар. — Давай, Шатлык, травы ему иарвем?

— А серпом? — сказал Шатлык. — Серпом быстрее. Я сейчас! — и замелькал голыми пятками по направлению к дому.

Они навалили перед телеиком большую охапку люцериы, и Шатлык повел Сердара «иа строительство». Это был, собствеиио, расчищенный участок, и вешки на нем обозиачали грaиицы фундамента будущего здаиия. По участку ходил Ыклым-ага и что-то прикидывал в уме.

Сердар поздоровался с дедом, пожелал ему не уставать и осведомился, что тут иамечено строить. Жилой дом, сказал старик, сегодня уже строительиая бригада придет. Кому дом? Да мало ли кому. Может, кому-либо из колхозииков, кто еще живет тесиовато, а может, и приезжему, кто надумает в колхозе жить.

Сердар сделал вид, что не поиял иамек. Ыклым-ага тоже сделал вид, будто верит, что Сердар не понял. Сердар похвалил колхозиое строительство. Старик похвалил городские удобства и посоветовал сходить на хлопковое поле, посмотреть, как работают трактора и хлопкоуборочные машины. Сердар ответил, что ои хорошо изучил в институте и на практике, как растет хлопок и как работают машииы. Ыклым-ага согласился, что в институтах обучают очень даже умиым вещам, полезным для сельского производства, ио ие мешает и поближе посмотреть иа это самое производство.

— Сходи, сходи, Сердар-хан, от этого зиаиия твои ие уменьшатся... Эгей, Клычли! — окликиул старик проходящего неподалеку человека, который иес какие-то железные детали. — Не посчитай за труд, проводи моего виука Сердара на поле к Нурягды.

Клычли переложил иошу в левую руку, правую вытер о колеио и протяиул ее Сердару.

— Давайте зиакомиться. Я бригадир здеших трактористов Клычли Агамурадов.

— Я... Сердар Яйлымов...

— По слухам знаю вас. Вы в Ашхабаде живете. Торгуете вроде бы, да?

Сердар почувствовал, как жаркая кровь заливает ему лицо и шею. Клычли деликатно отвернулся и посетовал:

— Машины, шут их побери, ломаются часто, а опытных механиков раз-два — и обчелся. За рулем-то у нас все молодежь, доморощенные, так сказать, кадры. Руль крутить, рычаги двигать — это они еще умеют, а чуть какая неисправность — мамку на помощь зовут.

— Что ж у вас машины такие негодные? — спросил Сердар, постепенно обретая уверенность и благодарный Клычли за то, что тот переменил тему разговора.

— Машины очень даже годные! — возразил Клычли.— Отличные машины. Им бы только профилактику хорошую...

Позади послышался быстро нарастающий рев мотоцикла. Подняв целое облако пыли, мотоциклист лихо затормозил и крикнул:

— Вот ваш мотор, Клычли-ага! Извините, что задержался!

— Задержку извиняю, — сказал Клычли, — а вот за то, что машину так гоняешь по плохой дороге, очень свободно могу по шее накостылять. И ты не улыбайся, я серьезно говорю! Вы мне, черти полосатые, и трактора запарываете своей лихостью... Послушайте, Сердар, если не торопитесь, помогите мне в одном каверзном деле? Трактор, понимаете, стоит на поле уже двое суток. Никак не могу его отладить, чтобы хоть своим ходом до мастерской добрался. Может, вам повезет? Вы все-таки специалист.

— Поехали, — согласился Сердар, — посмотрим, что там.

Они возились с трактором без малого часа полтора, перешли на «ты» и стали уже покрикивать друг на друга. Наконец, потные, измазанные мазутом и грязью, вы-

брались из-под машины на свет божий, закурили, жадно затягиваясь дымом.

— Пойдет? — спросил Клычли.

— Должен пойти, — сказал Сердар, бросил недокуренную сигарету и полез на сиденье трактора.

Мотор действительно крякнул раз, крякнул два и заурчал на ровном дыхании. Сердар выжал сцепление, двинул рычаг передач — и трактор, звякая траками гусениц, пополз, набирая скорость.

— Порядок? — спросил Сердар, переводя мотор на малые обороты.

— Порядок! — в тон ему отозвался невесть откуда появившийся Нурягды. — Однако ты, племянничек, извозюкался на совесть.

— Чепуха! — отмахнулся Сердар. — Зато, смотрите, какого черта упрямого одолели! Ишь, урчит, зверюга!

— Хорошо отладили, — согласился Нурягды. — Устал, наверное?

— Да нет, какое там устал! Только во вкус вошел.

— Приятно слышать. Тогда с разрешения Клычли я тебя забираю с собой. Не возражаешь, Клычли?.. Хлопкоуборочная машина стала. Слесарей когда еще дождешься, а тут — живой механик под рукой, грешно не воспользоваться случаем. Пошли, Сердар!

— Может, подвезти вас? — спросил Клычли.

— Напрямик быстрее доберемся, — отказался Нурягды и зашагал журавлиными шагами через рядки хлопчатника.

Возле закапризничавшей машины стояла молоденькая девушка, почти девочка, и с выражением беспомощного отчаяния смотрела перед собой злыми глазами. Увидев приближающихся бригадира и какого-то незнакомого дядьку, она строптиво закусила губу и отвернулась, готовая царапаться и кусаться.

— Мастера привел тебе, Айлар, — сказал ей Нуряг-

ды. — Хороший мастер, городской. Он в момеит запустит твою сопелку, ты ие дуйся только.

— Вам хорошо говорить! — сердито огрызиулась девушка, ие оборачиваясь. — А я сколько уже дией плаи ие выполияю? На комсомольском собраиии уже вопрос ставить хотят! А я виновата, что оиа ломается каждый деиь? Давайте другую машииу! Не буду больше иа этой развалине работать!

— Остыиь, остыиь, ие горячись. Какая же это развалииа, если мы ее только в прошлом году получили?

— А кто работал на ией в прошлом году? Дурачок блажеииый! Говорила я вам, что ои машииу галопом гоияет, так вы мие ие верили. Вот и догоиялся!

— Будет тебе ворчать как старая бабка! — прикрикнул иа девушку Нурягды. — Сказал, что исправим машииу, зиачит, исправим! И иечего мие тут драматический спектакль в трех действиях устраивать. Подумаешь, иервиая какая! Новую машииу ей, видишь ли, подавай!

Девушка презрительио фыркиула, ио промолчала

Нурягды сокрушеиио развел руками, пряча улыбку.

— Видел, Сердар, что делается? Вот и работай с таким иесозиательиым иародом... Ну, ты пока тут будешь дефектиый акт составлять, я иа мииутку отлучусь.

— Ладио, — сказал Сердар, — если что, так девушка поможет.

«Мииутка» у бригадира оказалась длииiее длииного. Когда ои возвратился, иа месте была только Айлар, и глаза у иее были уже ие злые, а заплакаииые и красиые. Нурягды поискал взглядом хлопкоуборочиую машииу, смекиул, в чем дело, вполголоса чертыхиулся, иабрал полиые легкие воздуха и, иадсаживаясь, заорал:

— Серда-а-ар!.. Сю-да-а-а! — И призывио замахал рукой.

Взгляиув иа его побагровевшее от иатуги лицо, Айлар тихоиько прыснула в кулак и потупилась, вытирая глаза.

Подкатила хлопкоуборочная машина, всосала очередную порцию хлопка, словно вздохнула с облегчением, и остановилась. Улыбающийся, с потеками пота на чумазом лице, Сердар спрыгнул на землю.

— Дай закурить, дядя, — попросил он; пальцы его чуть дрожали от усталости. — Знаешь, никогда бы не подумал, что на этой несуразной бандуре так здорово работать! Пойти к вам водителем хлопкоуборочной машины, что ли?

— Водители у нас есть, нам инженер-механик позарез требуется, — сказал Нурягды. — А ты девушек наших почему обижаешь?

— Я обижаю?!

— Именно ты. Отобрал у бедной Айлар машину — и разъезжаешь себе в полное удовольствие, радуешься! Или не слыхал, что она про план и про комсомольское собрание говорила?

— Извините, Айлар, — сказал Сердар, — увлекся я. Но ведь я не просто катался, я для вашего же плана хлопок собирал!

Айлар шмыгнула носом.

— Могли бы и не стараться... Я и сама справлюсь!

Она независимо прошла мимо, взобралась на машину и повела ее по полю.

— Перерыв уже!— крикнул ей вслед Нурягды, но она даже не оглянулась. Он снова развел руками, как бы говоря: ну, что поделаешь с таким строптивым народом? Глаза его смеялись.

У Нурягды прибавились новые заботы.

— Безобразие! — пенял сыну Ыклым-ага. — Скоро месяц, как Сердар приехал, а я его по целым дням в глаза не вижу — за полночь возвращается.

— Папа, где дядя Сердар? — приставал к отцу маленький Шатлык. — Почему он со мной не играет?

— Может, мы обидели чем Сердар-джана и он нзбегает нас? — допытывалась у мужа Алма.

Нурягды, посмеиваясь в усы, отбивался как мог.

— Сердар твой внук, — говорнл он отцу, — это я у тебя должен спрашивать, где он пропадает и что делает.

— Сердар твой брат нли ие твой? — строго внушал он Шатлыку. — Вот ты его разыщи н заставь, чтобы он играл с тобой, а не с другнмн.

Жене говорил:

— Сердар человек покладистый, но кто выдержит, еслн его изо дня в деиь остывшим обедом кормить?

— Я вообще ие знаю, где ои обедает н ужннает! — сердилась Алма. — Что иа столе оставлю ему, то н убнраю потом!

Шатлык дулся:

— Он далеко уходнт! Я не могу его иайти...

Ыклым-ага испытующе посматривал на сына н шепотом допытывался:

— Прнручаешь?

— Нет, отец, — чнстосердечно признавался Нурягды, — не вижу в этом необходимостн. Да ведь и ты говорил, что каждый человек сам иа свою тропу выходит.

— Может, он за девушкой какой ухаживает? — лукавил старик.

— Чего не зиаю, того не знаю, отец. А вот в мастерскнх частенько его вижу. И с Клычли они, по-моему, крепко подружились — Алма не даст соврать, каждый вечер Сердаровы рубашки стирает. На поле встречал его не раз. Даже на заседанни правления он присутствовал и крнтиковал за бесхозяйственность в машинном парке.

— Ну-ну... — неопределенно говорил Ыклым-ага и теребнл в пальцах свою редкую бородку. — Ну-иу... Доброе семя, оно всегда даст побег...

— Ты это о чем, отец? — притворялся непоннмающим Нурягды.

— Это я так, сам с собой, — отнекивался старик и трижды плевал: — Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб ие сглазить!.. Давай-ка, сыи, лучше чайку попьем.

Как-то, прихватив с собой обрадованиого таким обстоятельством Шатлыка, Сердар пришел иа строительство. Там уже закаичивалась кладка стеи. Строительиая бригада работала дружно и споро. Ыклым-ага распоряжался на правах прораба.

— Помощники требуются? — весело осведомился Сердар.

— Мы помогать пришли, — как всегда серьезио заявил Шатлык.

— Помощникам всегда рады, — отозвался Ыклым-ага. — Стаиовитесь иа подачу кирпича.

Сердар покрепче закатал рукава и подмигиул Шатлыку: ие подкачай, братишка!..

Пообедав вместе со строителями, Сердар и Шатлык пошли по лугу к иебольшому пригорку. Подиялись иа вершину, несколько мииут стояли молча. Потом Шатлык спросил:

— Брат Сердар, ты все время будешь с иами жить или в иовый дом перейдешь? Тогда я к тебе буду в гости ходить.

Сердар — сверху вниз — посмотрел иа мальчика, положил ему на плечо руку, перевел взгляд на поле.

Жгуче припекало солнце, душиым истомиым зноем исходила земля, палевые цвета осеии плавились на пожухлой траве. Но Сердар вдруг увидел прозрачио-алые переливы рассвета, ощутил во рту прохладиую сладость утреиней виноградиы, иоздрей его косиулся свежий и сильиый, зовущий запах росы. Он вздохиул всей грудью, засмеялся, подхватил Шатлыка высоко иа руки.

— Что видишь, братишка?.. Далеко видишь?

— Далеко! Еще дальше! — весело барахтался в воздухе Шатлык.

— Ну, а теперь давай наперегонки — кто кого! Отставшему киселя не будет!

И они помчались — большой и маленький — по огромному бескрайнему лугу...

ЛИСТЬЯ ОСЕНИ

1

Солнце уже село и длинные смутные тени сумерек выползали из-за домов, когда Майса-эдже поставила на огонь чайник и принялась готовить ужин. Она только что вернулась с поля, где целый день собирала хлопок. Пальцы ее, исколотые острыми краями коробочек, болели, ныла поясница, требуя покоя и отдыха, но Майса-эдже не присела даже на минутку. Такой уж был у нее гордый характер. Никто не скажет, что жена Кувaнча Непесова, используя свое положение, отлынивает от работы, как некоторые другие председательши. Вместе со всеми от зари и до зари она работает в поле. И дома хозяйство в руках держит, не то что эта лентяйка и растеряха Нурджемал: только и забот, что нарядами хвастаться да соседкам косточки перемывать, а на поле не увидишь. Муж — счетовод, так она и задирает нос выше себя.

Утерев тыльной стороной ладони пот со лба, Майса-эдже добродушно усмехнулась: молодая она еще, Нурджемал, глупая. И вдруг насторожилась. По дороге к аулу, оставляя за собой длинный хвост пыли, катил газик. Майса-эдже всмотрелась: ну да, конечно же это его, председательский газик! Это Кувaнч домой возвращается. Почему, однако, так рано сегодня? Обычно

затемно приезжает... Вот беда какая! А у нее ни чай не готов, ни ужин — теперь вот хлопай глазами!

Она проворно метнулась было к оджаку[1], но замерла, пораженная увиденным: председателя выносили из машины на руках трое колхозников. Майса-эдже побледнела и, всплеснув руками, бросилась к мужу.

— Что с тобой, Куванч?.. Что случилось, скажи?!

Морщась, сквозь стиснутые зубы, Куванч медленно, как по складам, произнес:

— Ни-че-го... не случилось... Немного бок бо-лит... Пос-тели мне... прилягу... Не волнуйся, все пройдет, только полежу немного.

Он с трудом улыбнулся, но улыбка сразу же сменилась гримасой боли.

Стеля ему постель, Майса-эдже, несколько успокоенная словами мужа, ворчала:

— Конечно, всегда так бывает, когда добрых советов слушать не хотят! Говорю: покушай вовремя, говорю: отдыхай как люди, — так нет же, все равно что ослу молитву читать, — ничего не слушает. Думаешь, двужильный ты? Железный, думаешь? Верблюд и тот вовремя ноги под брюхо укладывает, железной машине — трактору отдых дают. Мало ли что ты председатель. Людей у тебя не хватает, что ли, что каждое дело своими руками тронуть норовишь? Ты — один, а дел все прибавляется. Другие председатели, тот же сосед, не хуже тебя, а и в правлении полдня сидит, и домой засветло приходит, потому и здоровый, на болезни не жалуется. А этот — вечно в поле, вечно на своем газике, как привязанный к нему! Люди без тебя не управятся, что ли? Каждый свое дело знает, болеют за колхоз не меньше твоего. А так, конечно, если кушать на ходу да спать три часа в сутки, каждая болячка цепляться будет!..

---

[1] **Оджак** — очаг.

Она ворчала, готовя ужин; ворчала, кормя детишек; ворчала, убирая посуду. И только когда приехавший из райцентра врач, осмотрев больного, сказал ей за дверью: «Постарайтесь не волновать его», — она испугалась.

— Очень плохо с ним, доктор?

— Не очень, — после короткого молчания сказал врач. — Но больному нужен полный покой.

Устыдившись собственного бессердечия, Майса-эдже заморгала глазами и виновато вздохнула. Потом, присев на край кровати, осторожно погладила широкую горячую ладонь мужа.

— Совсем я, непутевая, голову потеряла... Разве к нему пристанет какая болезнь? Он такой здоровый, что любая болезнь его побоится! Видно, устал немножко, переутомился, вот и...

Скрипнув зубами, Кубанч схватился за бок. Майса-эдже вскочила, растерянно глядя то на мужа, то на врача. Тот сделал успокаивающий жест.

— Ничего, ничего, идите по своим делам, ему сейчас легче станет.

Майса-эдже еще раз жалостно взглянула на мужа и вышла, посторонившись в дверях, пропуская заместителя председателя Аннака Нурлиева.

Остановившись у порога, Аннак поздоровался. Врач вежливо ответил. А Кубанч словно не заметил своего молодого заместителя.

— Подойди сюда, Гельды, — позвал он врача. — И говори правду: что со мной, а то все хуже и хуже становится.

— Прежде всего, не надо расстраиваться, товарищ Непесов, — помедлив, ответил врач. — Человек вы пожилой, работаете очень много, а отдыхать не хотите как следует, вот и...

— Это я и сам знаю! — досадливо перебил его Непесов, сдвинув брови. — Ты, Гельды Велиев, не ходи вокруг да около, не затем я тебя посылал из колхоза на доктора

учиться! Смотри мне прямо в глаза и говори, что за болезнь объявилась и сколько времени из-за нее я бока отлеживать буду! Может, это моя старая фронтовая рана знать о себе дает?

Его снова согнул приступ острой боли.

Велиев помолчал, набирая в шприц лекарство, негромко сказал:

— Это не рана, Куванч Непесович, это болезнь. Она вполне излечима, но серьезна. Придется вам полететь в Ашхабад.

— Это еще зачем?

— Так надо, — вздохнул Велиев. — Для радикального лечения средств у районной больницы маловато. Да и запущена ваша болезнь.

Непесов иронически хмыкнул, смежив веки, и тотчас перед глазами побежали дороги, тропы, тропинки. Окаймленные верблюжьей колючкой («С кормами бы не затянуть», — подумал председатель), они стремительно бежали все дальше и дальше, пока не растворились в белоснежном хлопковом поле. Непесов открыл глаза.

— Нет, — сказал он, — никуда я не поеду. Здесь лечите!

Велиев покачал головой.

— Надо ехать, товарищ Непесов. Здесь мы вылечить вас не сумеем.

— Похоронить во всяком случае сумеете! — отрезал Куванч, прислушиваясь, как после укола медленно откатывается и затихает боль.

— Напрасно вы так, Куванч-ага, — вступил в разговор Нурлиев, все еще стоявший у порога. — Лечиться вам обязательно надо. Надо ехать в Ашхабад.

Председатель недобро посмотрел на своего заместителя.

— Хлопкоуборочную кому доверю?!

— На людей вы вполне можете положиться, Куванч-

ага, — возразил Аннак. — Вспомните, как во время вашего отсутствия мы в срок уложились с посевной. И во время обработки хлопчатника, когда вы в Таджикистан с бригадой выезжали для обмена опытом, люди тоже не подвели, не отстали от соседних колхозов. Езжайте и лечитесь спокойно.

Вроде бы и простые слова говорил Нурлиев, но каждое слово колючкой впивалось в сердце Непесова. Он тяжело дышал и смотрел на заместителя так, словно видел его впервые, словно пытался разглядеть то, чего не замечал прежде. Голос его прозвучал хрипловато и едко:

— Значит, так ты советуешь, Аннак-хан?

Не обидевшись на насмешку, Нурлиев кивнул:

— Это необходимо, Куванч-ага. Там знаете какие врачи? Все профессора! Они не только болезнь вашу выгонят, они вам десять лет жизни прибавят — вернетесь молодым джигитом.

Нурлиев пытался шуткой разрядить обстановку, но глаза председателя были неулыбчивы и пронзительны. Куванч-ага смотрел мимо Аннака. И медленно, словно пережевывая что-то твердое, двигал челюстью. И молчал.

— С почками, товарищ Непесов, шутки плохи, — серьезно сказал Велиев. — Боюсь, что у вас нефрит.

В дверях показалась расстроенная Майса-эдже — она слышала слова врача.

— Поезжай ты, отец! Поезжай, ради аллаха, лечись! Меня не слушаешь, так хоть умных людей послушай. В Ашхабаде врачи знаменитые, профессора. Что ты от них шарахаешься, словно глупый теленок от молочного пойла? Тебе же добра хотят. Езжай, пожалуйста, ни о чем не беспокойся!..

Непесов устало махнул рукой.

— Ладно, не трещи хоть ты, помолчи немного...

2

Откинувшись в мягком самолетном кресле, Непесов думал о не вовремя свалившейся на него болезни. Одно дело, когда здоровый уезжаешь из колхоза, — тут в любую минуту, случись нужда, вернуться можно. А больной он и есть больной — лежи, глотай пилюли да переживай. Черт ее принес, эту хворобу, как будто не могла после хлопкоуборочной объявиться! Сдали бы честь честью хлопок, заготовили корма, ну, тогда и приходи, пожалуйста, тогда и поболеть можно. А то ведь надо же, в самую что ни на есть горячую пору свалило! И этот еще говорун, Аннак: «Без вас посеяли... Без вас обработали...»! Много вы без меня насеяли! Когда председателем выбрали, не колхоз был — слезы горючие. А нынче, ишь ты, «без вас»! Послушай его, так Куванч Непесов вообще лишний человек в колхозе: есть он, нет его — дело идет само по себе.

Непесов повернул голову в сторону и встретил внимательный взгляд врача. Велиев ободряюще улыбнулся.

— Скоро Ашхабад.

— Ашхабад... — задумчиво повторил Непесов и вдруг спросил: — Скажи, доктор, хоть это и не по твоей части, что ты о моем заме, об Аннаке, думаешь.

Велиев пожал плечами.

— Об Аннаке? Я его с детских лет знаю, учились вместе. Он хороший парень, Куванч Непесович, деловой, честный. Мне, правда, не довелось быть на фронте, как вам, но с Аннаком, говоря словами фронтовиков, я бы пошел в разведку. На него можно положиться: не подведет.

— В разведку, говоришь? — с сомнением переспросил председатель и снова задумался. Что ж, может быть, Велиев и прав. Конечно, прав. Аннак знающий и самостоятельный человек. А другие колхозники? Не он ли, председатель, сам упорно и настойчиво учил их самостоятель-

ности? Не он ли назначал звеньевых временными бригадирами, перебрасывал людей с участка на участок, приучая их осваивать все колхозные работы? Не он ли умышленно выискивал предлоги для отлучки, оставляя Аннака самостоятельно распоряжаться колхозным хозяйством в ответственные моменты, чтобы привить парню руководящие навыки?

Да, Аннак вполне может руководить колхозом. И не только он, любой из бригадиров может! «Хорошие у меня люди, — с гордостью подумал Непесов, — все доверить им можно, не подведут». А что, в самом деле, не пора ли вам на пенсию, товарищ председатель? Может быть, ваш авторитет на данном этапе уже не помогает развитию колхоза, а только сдерживает смелость и размах молодой смены? Возможно, освободившись от необходимости прислушиваться к вашему мнению, они поведут дело так, как вам и не снилось? Кто знает, может, так оно и есть. Молодежь нынче решительная, ученая, а у него что? Только и есть, что практический опыт.

Ощущение падения, отозвавшееся судорожной спазмой желудка, застало Непесова врасплох. Он схватился за ручки кресла и глянул в иллюминатор.

Самолет снижался, кренясь на одно крыло. Глазам Непесова предстала игрушечная карта земли. Но он не воспринимал ее как карту. Для него это была тяжелая трудовая ладонь — желтая, сухая, растрескавшаяся от долгой, трудовой работы. И пятнышки возделанной земли, пятнышки жилых строений были как мозоли, и темные разветвления арыков — как набухшие вены на руке.

На душе у председателя было смутно и неуютно. Казалось, что вот сейчас ему надо будет встать и прыгнуть с самолета. И лететь, лететь, покуда земля, которой он отдал всю свою жизнь и которую знал до самой малой песчинки, не примет его в свои добрые вечные объятия...

8

Здоровье Куванча Непесова постепенно улучшалось: врачи в Ашхабаде оказались действительно хорошие. Однако сам Непесов считал, что в основном помогли ему не лечебные процедуры, а письма, которые он получал из дому. Особенно два из них. Одно написал Аннак Нурлиев, другое — жена.

Собственно, о делах с уборкой хлопка председатель знал и сам. Дважды колхоз упоминали в районной газете — ее специально по просьбе Непесова приносили в больницу, — а однажды о нем написали даже в республиканской газете. Но все равно письмо Аннака обрадовало председателя. Он перечитывал его несколько раз, будто пытался прочесть написанное между строк, но ничего не видел и только покряхтывал и вздыхал, сидя на скамейке во дворе больницы.

Желтые листья деревьев кружились в воздухе; спокойно и просто, как честно свершившие все, что им было положено, опускались на землю, чтобы отдать ей последнее, что у них еще оставалось — свое маленькое, невесомое тело, пищу для будущих ростков, для новых листьев. Один лист пощекотал Куванча за ухом, второй мягко сел на газету. Непесов посмотрел на него, взял, потер между пальцами, вдохнул терпкий и печальный аромат увядания. Нет, подумал он, дела в колхозе идут хорошо, Аннак ни за что не допустит, чтобы хлопок остался не убранным до холодов. Только вот догадается ли он часть людей перебросить на заготовку кормов? Догадается! Он парень с головой, хороший из него председатель будет, а мне действительно отдохнуть пора, я свое отработал, как этот пожелтевший листок...

— Здравствуйте, Куванч-ага! Как живы-здоровы?

Непесов вздрогнул и обернулся. К нему подходил улыбающийся Аннак.

— Постой, как же это так? — пробормотал неприятно

пораженный Непесов и, вскочив со скамьи, не отвечая на приветствие, закричал: — Ты что здесь делаешь в такое время, Аннак?! На уборке каждая минута дорога, а ты отдыхать вздумал? А люди без тебя как работают, ты знаешь? Да ты... да я... Где мой халат? Немедленно домой еду!..

— Вы только не сердитесь, — миролюбиво сказал Аннак. — Уборка идет как надо, люди себя не жалеют — много у вас хороших помощников, Куванч-ага. А приехал я потому, что рапорт привез. Да и народ очень интересуется, как вы себя чувствуете.

— Какой такой рапорт? — удивился Непесов, остывая.

Аннак протянул ему листок бумаги.

— Вот! Рапорт о том, что колхоз вчера выполнил план сдачи хлопка.

— Так не мне надо рапорт, а...

— А мы уже сообщили куда следует. Сегодня утром сообщили. И я сразу...

— План, говоришь, вчера дали? — перебил его Непесов. Помолчал и добавил: — Нет, Аннак, рано еще тебе председателем колхоза быть.

Аннак от удивления даже рот открыл.

— Мне председателем?! Да я даже во сне об этом не думал! Ведь вы...

— Ладно, садись на скамейку, рядом, — усмехнулся Непесов и вдруг закричал: — Куда! Куда на газету садишься! Тут о колхозе нашем написано! И вообще умные люди газету придумали не для того, чтобы ею скамейки застилать... Садись, башлык[1].

— Куванч-ага! Да я и во сне...

— Ты во сне, а я — наяву. Так-то. На пенсию мне, парень, уходить надо. Только теперь сомневаюсь колхоз на

[1] Башлык — председатель.

тебя оставлять. Разве так можно? Плаи еще вчера дал, а сводку только сегодия посылаешь!

— Да какая разиица, Куваич-ага?

— Большая, парень, разница. Могли и в сегодияшией газете о иас сообщить. А теперь люди целый деиь ждать должны, мучиться. Их обижать иельзя. Работали они хорошо? Сразу воздай им за это. Пусть радуются: заслужили.

— Учту, Куваич-ага.

— И правильио сделаешь, если учтешь... А я — иа покой.

Он сказал это как давио обдуманное и решениое, и, хотя в сердце не было прежией тоски, все же кольнула там малеиькая иголочка. Кольиула, и повериулась, и замерла — ии туда ии сюда.

— Не говорите так, Кувaнч-ага! — воскликиул Аииак. — Никуда мы вас ие отпустим! Люди вас ждут не дождутся, а вы им такую новость в радостный деиь... Это им — не обида? А еще меня у́чите. Да если я им ваши слова передам, оии меия в шею из колхоза выгоият!

— Не выгоият... Я ие позволю, — попытался улыбнуться Непесов, ио не сумел, дрогнул голосом и отвериулся, чтобы скрыть повлажневшие глаза.

Иголочка в сердце растаяла.

ВСЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ

Нияз-ага вериулся от дочери в прекрасном расположении духа. Сваты встретили и прииялн его с таким радушием, что только иа пятый деиь, вияв его просьбам, отпустили домой.

Подиявшись иа крыльцо, Нияз-ага толкиул дверь своей комиаты и, удивлеиный, остаиовился иа пороге — туда ли попал.

В углу, где всегда складывалась постель, теперь стояла детская кровать. На стене, где висел портрет жены и портрет его самого, теперь красовались цветные фотографии внуков. А на том месте, где он любил чаевничать, лежа на коврике, появился диван в яркой обивке. На месте чемодана, в котором постоянно хранились оставшиеся от жены памятные вещи, грудой были свалены игрушки.

Нияз-ага хмыкнул и озадаченно почесал в затылке: «Что бы это значило?»

— Здравствуй, отец.

За спиной стоял сын Довран и смущенно улыбался.

Старик с облегчением опустил тяжелую сумку на пол.

— Здоровы ли вы все, сын мой?

— Здоровы. Как тебе съездилось, отец? Как Джерен, все ли у них в порядке?

— Хорошо съездилось. У Джерен все здоровы, у них все в порядке. Привет передают, тебе, твоей жене. Детям подарки прислали. Да... Что тут у вас произошло? Никак ремонтом занялись?

— Понимаешь, отец, — Довран взял старика за локоть, — тесноват наш дом становится. Вот мы и решили с Говхер сделать некоторую перестановку: расселить детей, а твои вещи перенести во времянку. Попробовать только, как тебе понравится.

Нияз-ага круто повернулся к сыну. В сузившихся глазах заметались знакомые всем домашним блики.

— Попробовать!.. Выгнать отца из собственного дома, это теперь называется — попробовать. Вы пришли в мой дом и меня же из него выгоняете! Правильно: «Приютил бездомного — сам без дома остаешься». Тесно! Им тесно! Так кому тесно, тот и должен искать простора. Или ему неизвестна поговорка о том, что «в тесноте — да не в обиде».

Довран, досадливо морщась, переждал гнев отца.

— Ты прав и не прав. Времянка тоже нам долгое время была родным домом. И она тоже твоими руками по-

строена. Ты же один, отец. Не все ли равно, где тебе жить? Чай пей иаш, обедай за иашим столом, а с пенсией делай что хочешь. Обо всем остальном мы позаботимся.

— Замолчи! Едииствеиный наследник! Распорядился жизнью отца, будто тот совсем... Негодник!

На шум в комнату вбежала иевестка.

— Да что вы такое говорите сыну? Или его дети ие ваши дети? Войдите и вы в иаше положеиие, поймите нас!

— Прошу тебя — не вмешивайся, Говхер! — Довран взял жену за плечи и подтолкнул к двери. Та решительно заупрямилась.

Старик, остывая, горько усмехиулся.

— Мужчиной казаться хочешь... Зиачит, ие поиимаю я вас, невестушка? Не понимал, значит, я вас, когда вы полюбили друг друга и решили пожениться, а я благословил вас и отдал все комиаты в доме, кроме одной. Эх, вы...

По ступенькам крыльца вразнобой затопали и в комнату ворвались взъерошенные, раскрасневшиеся, но бескоиечио счастливые внуки. Оии окружили деда и как птенцы защебетали:

— Дедушка приехал!

— Ура! А тебя переселили!

— Теперь в твоей комиате мы жить будем!

— Пойдем, мы тебе покажем твой новый дом!

У старика перехватило горло. Ои круто повериулся и, сопровождаемый детворой, зашагал из комиаты.

Времянка стояла в дальием углу двора. Построил ее Нияз-ага, собираясь с силами для постройки капитального дома, давио, когда сын бегал в пятый класс, а Джерен только родилась. Задумаи дом был на славу — просторным, светлым, теплым и на случай землетрясения устойчивым. Потому и строился долго. Сын закончил десятилетку во времянке и уехал на учебу в другой город, а Нияз-ага все строил дом. Отстроился незадолго до смерти жены. Посватался к дочери добрый парень — и та разду-

мывать долго не стала. Нияз-ага было заупрямился, задетый легкостью, с которой дочь оставляла родного отца одного и уходила в большую семью парня, но потом согласился. Оставался еще сын — опора и наследник.

Довран получил направление в родной город. Начал работать, помогая отцу во всем. Познакомил его с худенькой и черноглазой Говхер и попросил благословения. И дом ожил. Времянка же осталась, служа кладовой для старых вещей и мебели, с которыми всегда почему-то трудно расставаться...

Нияз-ага вошел во времянку. Внутри она оказалась прибранной. Старую мебель, видимо, пустили на дрова, а тряпье сложили в большой, окованный железными полосами сундук. Стопа одеял и чемодан лежали по углам, портреты висели на стенах. Все вроде бы так; как надо.

Нияз-ага разделся, умылся во дворе под краном и позвал внуков.

— Идите к отцу, там у него есть подарки, которые вам прислала тетя Джерен.

Отослав детей, старик опустился на ковер, не зная, к чему приложить руки. Ковер лежал под единственным окном, как лежал когда-то. Все вроде бы так, как было. И что-то не так. И снова у старика запершило в горле.

«От себя отрывал — все ему норовил. Вырастил, воспитал, дал образование — сделал, казалось, человеком. Когда, почему у него очерствело сердце?.. Видела бы это мать, что было бы с ней?»

На старика нахлынули воспоминания. Его молодые годы... женитьба... рождение первенца... И — война. Почему-то в памяти особенно отчетливо высвечиваются картины, полные, казалось бы, несовместимых обстоятельств: сыплются бомбы, свистят снаряды, горит и содрогается под ногами земля, а он, Нияз, сидит и пишет жене письмо: «...Береги Доврана. Днем и ночью смотри за ним. Смотри, чтобы он не упал, не ушибся. Будет он нашей отрадой и надеждой...»

Слезы сами собой покатились из глаз старика.

Вбежавший в комнату внучок растерянно захлопал глазенками, потом принялся утешать деда:

— Не плачь, дедушка. Эта комната тоже хорошая.

— Хорошая, хорошая, — дед погладил внука по голове и посадил его на ногу. — Да и не плачу я, соринка в глаз попала.

Нияз-ага вошел в комнату, когда невестка и сын чему-то весело смеялись. Это неприятно отозвалось в душе старика.

Довран поспешно вскочил с места:

— Проходи, отец.

— Проходите, дедушка, садитесь. — Невестка усадила свекра и поставила перед ним чайник и пиалушку.

Нияз-ага неторопливо налил себе чаю и, сощурившись, посмотрел на невестку с сыном.

— Хотел бы я знать, вы и в глубокой моей старости так за мной ухаживать будете?

Довран улыбнулся.

— Будь спокоен, отец. И мы, и внуки как бабочки вокруг тебя порхать будем. Пожелаешь птичьего молока — достанем.

— Пусть дурные мысли не мешают вам спать, дедушка, — поддержала сына невестка.

— Я верю каждому вашему слову, если даже вы пошутили. — Из-под нахмурившихся бровей старика мудро глядели строгие глаза. — Верю. Ибо вы действительно будете порхать. Но только не вокруг меня, а вокруг своего сына, которого после моей смерти назовете моим именем — Ниязом. Ему вы и птичьего молока найдете. Не будете знать, где его посадить и чем накормить. Будете смотреть за ним в оба — как бы он, не дай бог, не упал и не зашибся.

Сын и невестка остолбенели.

— Я верю, — продолжал старик, — ему не придется переселять вас во времянку — ради него вы переселитесь в нее сами. Так что как жил в доме Нияз, так и жить в нем будет. — С последними словами старик поднялся с места.

Сын и невестка обеспокоенно переглянулись.

Перехватив их взгляд, Нияз-ага грустно улыбнулся.

— Подожди, отец! — Довран решительно встал на пути старика. — Подожди! Сейчас все снова будет на своем месте.

Нияз-ага просветленно глянул на Доврана:

— Ничего трогать не надо, сын мой. Все и так на своем месте...

СЕРДИТЫЙ МОВЛАМ-АГА

Он сидел хмурый, сосредоточенно натягивал на ногу тесное голенище сапога, сопел от напряжения и раздраженно ворчал на жену:

— Угомонись ты, не мельтеши перед глазами, как злой дух! Лучше хурджун приготовь! Или ты думаешь, что я воздухом питаться буду?

— Собирайся, собирайся, отец, — поспешно согласилась Гульджемал-эдже, — я ничего, я отойду...

В соседней комнате она присела над наполненным хурджуном, ласково погладила его раздутые шершавые бока. Уже три дня она готовит мужа в дорогу, все, кажется, предусмотрела: коурма, кишмиш, финики, яблоки... Чурек только недавно испекла, еще горячий дух тамдыра сохранился в нем — пусть девочка услышит родные запахи.

Гульджемал-эдже всплакнула, вспомнив, как любила Кейкер-джан свежий, пышущий жаром чурек. И яблоки

любила. Пусть полакомится, бедная, в городе-то, наверное, таких яблок днем с огнем не сыщешь...

Еще раз потрогав хурджун, Гульджемал-эдже отерла глаза, подумала, достала цветастую шерстяную шаль и стала аккуратно завертывать ее в газету.

Мовлам-ага, который наконец-таки справился с непослушным сапогом, вышел, посмотрел и коротко приказал:

— Это убери!

Гульджемал-эдже растерялась.

— Убрать, отец?..

— А зачем он мне нужен? Я не моль — шерстяными платками не питаюсь.

— Дорога-то дальняя, отец, может, и пригодится, умоешься — лицо вытрешь... или руки.

Мовлам-ага презрительно фыркнул.

— Хитрила овца перед волком, да только одни копыта от нее остались!.. Убери, сказал! Я этой паршивой девчонке смерть везу, а не подарки!

Гульджемал-эдже поплевала за ворот:

— Тьфу-тьфу-тьфу!.. Сохрани, аллах, от худого... И зачем ты, отец, слова такие непотребные произносишь!

— У тебя зато все слова хорошие, слаще меда, — пробурчал Мовлам-ага, натягивая халат. — С тебя, думаю, все началось. Если бы не твое попустительство, как могла бы дочь из дому сбежать?

— Не сбежала она, учиться уехала. Все сейчас на учебу в город едут.

— Меня все не касаются — пусть хоть в город едут, хоть вниз головами в большой арык прыгают, — а дочери своевольничать не позволю.

— Уйми сердце свое, отец. Одна ведь она у нас, одна-единственная.

— Кончай болтать! — Мовлам-ага нахлобучил на голову тельпек, вскинул хурджун за спину. — Как сказал, так и сделаю: либо домой приведу за косы, либо на месте убью.

— Посмотреть на тебя — ух какой страшный! — попыталась улыбнуться Гульджемал-эдже. — А дочка-то твоя, родная, твоя кровь в ней течет.

— Вот я и посмотрю, какая у нее кровь... Если не вернусь вовремя, знай, что в тюрьму меня посадили. Продуктов в этом мешке недели на две мне хватит. А потом передачу привезешь.

— Не привезу! — рассердилась и Гульджемал-эдже. — Он будет дочку убивать, а я ему передачи вози! Пусть тебя в твоей тюрьме свиными котлетами кормят.

Мовлам-ага опешил на мгновение, раскрыл было рот, чтобы ответить, но только плюнул с сердцем, хлопнул дверью и зашагал, загребая сапогами пыль, к автобусной остановке.

— Смотри не обижай дочку, не ругай ее там, не позорь перед подругами! — кричала вслед Гульджемал-эдже.

Мовлам-ага лишь передернул плечами и выругался шепотом, поскользнувшись на дынной корке, которую бросил на дороге кто-то из аульных мальчишек.

В автобусе он молчал, сумрачно посматривая в окно на исчерченные арыками карты хлопковых полей. Гузапаи[1] убирать надо, думал он, землю готовить, а башлык все еще почесывается. Вот вернусь — я ему на правлении выложу: опять от соседей с севом хлопчатника отстанем. Сколько можно? От жизни наш башлык отстает, молодого нам надо, с высшим образованием, с институтским дипломом...

Мысли об институте заставили Мовлам-агу вспомнить о дочери, и он принялся мысленно ругать ее и грозить самыми страшными карами. Посмотрел на хурджун, пнул его потихоньку сапогом, пообещал: ну, погоди, доберусь я до тебя, ослушница!..

Насупленный сидел он и в купе вагона.

---

[1] Г у з а п а и — стебли хлопчатника.

Напротив него расположилась пожилая женщина. Это тоже сердило Мовлам-агу: почему женщина ему в попутчицы попалась, а не солидный, понимающий жизнь мужчина, в разговоре с которым можно было бы отвести хоть немного душу?

Женщина дремала, опершись локтем на чемодан, покачиваясь в такт движению вагона. «Специальное место умные люди в вагоне для чемоданов приспособили, — неодобрительно думал Мовлам-ага, не принимая в расчет, что его собственный хурджун лежит рядом, на полке. — Положила бы чемодан куда положено, легла бы и спала, как люди спят. Одно слово: женщина — ум короткий, как верблюжий хвост!..»

Вагон качнуло на стрелке разъезда. Локоть женщины сорвался с чемодана.

— О господи, когда эта дорога кончится? — вздохнула она, поправляя волосы, встретила осуждающий взгляд Мовлам-аги и пояснила: — Из-за дочки в такую даль поехала.

Мовлам-ага просиял.

— Из-за дочки, говоришь? А где она у тебя?

— В самом Небитдаге.

— Вот, подлая, как далеко убежала!

Глаза женщины удивленно округлились.

— Почему ругаетесь, яшули?

— Как же не ругаться! — дал волю чувствам Мовлам-ага. — Дочки взяли моду от родителей убегать, а мы это покорно терпеть должны? Нет уж!

— Да кто вам сказал, что моя убежала? — засмеялась женщина. — Я сама ее отправляла на учебу в Баку. Там она на инженера выучилась. Теперь работает в Небитдаге, замуж вышла.

Разговора не получилось.

Мовлам-ага буркнул что-то нечленораздельное и от-

вернулся к окну. «Сама отправляла»! — мысленно передразнил он попутчицу. — Такая же, видать, дура набитая, как и моя!»

Двор института был чист и весь в зелени. Это произвело на Мовлам-агу хорошее впечатление. «Приятно жить в таком месте, — подумал он, осматриваясь по сторонам, — только очень уж бензином от автобусов воняет, наш аульный воздух чище».

На одной из скамеек сидел седобородый человек, в халате. Мовлам-ага подошел к нему, поздоровался:

— Салам алейкум, ровесник!

— Алейкум эс-салам, — дружелюбно отозвался седобородый и подвинулся, хотя места на скамье было больше чем достаточно. — Присаживайтесь, ровесник. Как здоровье?

— Ай, здоровье ничего пока, — сказал Мовлам-ага.

По просторному институтскому двору ходили группы девушек. Некоторые из студенток были в национальных кетени, но большинство — в модных городских платьях. И почти все — в красивых туфлях на высоком каблуке. «Неужто и моя так ходит? — бурлил возмущением Мовлам-ага, стараясь не очень настойчиво смотреть на голоногих девушек. — Ну, Кейкерджик, моли аллаха, чтобы удержал мою руку!»

— Давайте познакомимся, ровесник, — прервал его негодование седобородый. — Меня зовут Деря. А вас?

— Нас Мовламом зовут.

— Я смотрю, вид у вас невеселый, Мовлам. Или мне показалось?

— Невеселый, — согласился Мовлам-ага. — С чего веселиться, если дочь сбежала.

— Куда сбежала?

— Сюда. Учиться ей, видишь, в институте захотелось!

Деря-ага покачал головой.

— Да, нехорошо получилось... Однако, если бы вы ей

разрешили, оиа, вероятио, прнехала бы с вашего разрешеиия?

Мовлам-ага ие уловил ироиии в вопросе собеседиика. Возмущеиио тряся головой, он жаловался:

— Без разрешеиия отцовского взяла и уехала, дрянь этакая! Я гордый человек! Я ие позволю, чтобы сопливая девчоика позорила мои седииы! Сегодия же убью ее своими руками!

Слушая его, Деря-ага улыбался, ио при последиих словах посерьезиел.

— Вы, Мовлам, думаете, что я человек ие гордый, равиодушиый к своей чести? Или, по-вашему, вот эта седая борода — фальшивая? Какой позор для себя усматриваете вы в том, что дочь ваша учится в иистимуте? Разве оиа одиа учится? Посмотрите, сколько здесь девушек. Добрая половииа их — из аулов, ио я что-то не вижу отцов, приехавших убивать своих дочерей. Только вы одии и есть... Не гордость, дорогой Мовлам, а отсталость иаша толкает иас порой иа иелепые поступки, поверьте.

— Не упрекайте меия, ровесиик! — горестио махиул рукой Мовлам-ага. — У меия и так в голове ие мозги, а самаи какой-то, ие зиаю, что делать. Если бы ваша дочь совершила подобиый поступок, вы бы иначе заговорили.

— Нет, — сказал Деря-ага, — я не заговорил бы иначе, Мовлам! И дочери моей не было иеобходимости бежать из дому тайком, потому что я сам велел ей ехать в иистимут!.. Для кого же мы с вами живем и работаем, если не для своих детей? Пусть оии радуются жизни. Пусть учатся, стаиовятся хорошими специалистами — зачем закрывать им дорогу, которую мы же сами для иих проложили? Ведь тогда получается, что мы с вами прожили жизнь впустую, кружились иа одиом месте, как слепой верблюд вокруг пустого колодца. Не могу согла-

ситься с этим! Да и вы, уверен, думаете не так, как говорите.

— Ничего не понимаю! — сокрушенно потряс головой Мовлам-ага. — Как быть дальше... что делать?..

— Что же тут понимать? — улыбнулся Деря-ага. — Вот сейчас попросим, чтобы позвали наших дочерей. Вашей как имя?.. Кейкер, говорите? Эй, дочка, подойди-ка сюда поближе... Ты знаешь Абадан Деряеву и Кейкер Мовламову?

Миловидная студентка утвердительно кивнула.

— Знаю обеих. Мы вместе учимся, на одном курсе.

— Помоги-ка нам, пожалуйста, разыскать их. Скажи, отцы ваши приехали, подарки привезли.

Мовлам-ага смущенно крякнул, завозился на скамье.

Девушка лукаво стрельнула в его сторону глазами, потупилась.

— Абадан я позову, она сразу прибежит. А вот Кейкер — не знаю, пойдет ли.

— Как это не пойдет?! — вскинулся Мовлам-ага.

— Очень она отца боится, — сказала студентка, пряча улыбку, — прямо дрожит вся, когда о нем вспомнит.

— Нет, вы только посмотрите на нее! — рассердился Мовлам-ага, обращаясь к Деря-аге. — «Дрожит вся...» — Он повернулся к студентке: — Что я, зверь какой, чтобы бояться меня? А ну, пусть немедленно приходит!..

...Когда Мовлам-ага вернулся домой, его встретил вопрошающий взгляд Гульджемал-эдже.

— Жива твоя дочка, здорова, привет передает, — сказал Мовлам-ага, стараясь не смотреть на жену.

Гульджемал-эдже вся засветилась.

— Слава аллаху!... Хоть бы одним глазком взглянуть на нее. Соскучилась очень по ней. Подаркам обрадовалась, наверно?

— Обрадовалась, — буркнул Мовлам-ага, вешая халат на вбитый в стену деревянный колышек.

— Вот видишь! А ты платок не взял, — упрекнула Гульджемал-эдже.

— Платок... платок! — сердито сказал Мовлам-ага. — Одно слово: женщина! Ум короче верблюжьего хвоста... Там студентки в модных туфлях на каблуках ходят, а ты нашей какой-то дрянной платок суешь? Туфли ей надо купить и отвезти в следующий раз. И материала хорошего на платье. А то — «платок»!..

КРУГОВОРОТ

Черный ишачок, цокая копытами, уверенно пересек улицу и остановился у ворот интерната. Он совсем неплохо чувствовал себя на городских улицах, успев изучить маршрут от села до этих ворот.

Мухат-ага спешился, привязал осла к стволу тутовника и направился к калитке. Он уже не раз оглядывал свои новые блестящие галоши и кушак из нарядного шелка. Едва не сбив его с ног, из калитки выскочил парнишка лет одиннадцати. Хворостинка, надо полагать, являла собой резвого скакуна.

— О, дядя Мухат приехал...

— Рад слышать твой голос, дружок. Как тут у вас дела?

— Хорошо. Позвать Гуванча?

— Ах ты, умница... Позови его, позови.

Посыльный пропадал минут пять, потом доставил

дружка на своем чудо-скакуне, покружился еще немного около и умчался.

Придирчиво осмотрев сына, отец нашел его свежим, жизнерадостным. Белая рубашка, красный галстук, схваченный блестящим зажимом.

— Здравствуй, отец! — бойко крикнул Гуванч издали, а приблизясь, стал похлопывать и поглаживать ослика.

Мухат-ага, переминаясь с ноги на ногу, смотрел на сына. «Ишаку больше рад, чем отцу родному. И тот, паршивец, чуть что — лягается, а тут стоит точно вкопанный».

— Ну, довольно, сынок. Рубашка-то белая, а он весь в пыли. Посиди со мной. Как живешь, как у тебя дела? — спросил он.

— Хорошо.

— Это хорошо... Я вот что тебе сказать хотел, — как бы между прочим начал Мухат-ага. — Там, дома, значит, все в порядке, мать и ребята, твои ровесники, привет тебе передают. Дела в колхозе идут на лад. Главное, у нас свою большую школу открывать собираются. Что, если тебя заберем отсюда?

Гуванч испуганно вскочил.

— Нет, отец! Я хочу здесь учиться! Мне нравится в интернате. Я не хочу домой!

— Уф... Как ты громко говоришь! Садись... Это я так, к слову, о большой школе. Ладно, пусть будет по-твоему — учись... На вот, это мать тебе свежего чурека передала. А то, говорит, мы тут едим, а сыт ли наш Гуванч?

— Нас же тут кормят, отец. И хлеба дают сколько хочешь.

Слова сына обидели Мухата-ага.

— Все равно, чурек возьми. Не кто-нибудь, мать ведь передает, — Мухат-ага щелчком смахнул травинку с

плеча сына. — В следующий базариый день я опять приеду.

Гуванч посмотрел на усталое, в морщиниках, лицо отца, иа его халат и галоши, покрытые тоиким слоем пыли, и поиимающе вздохнул.

— Ты ведь, отец, ячмеиь свой просто так возишь. Зиаю: ты ко мне ездишь. И зачем беспокоишься? Будто я малеиький или, думаешь, веду себя плохо?

— Нет, мы так не думаем. Мы по-другому думаем. Видишь ли, верблюжонок мой, хоть и узиал ты в жизни миогое, грамотиее отца стал, а этого сейчас ие поймешь. Вырастешь, тогда другое дело.

Гуванч удивлеиио пожал плечами...

Автобус трясло, иа участке меияли дорожное покрытие, а Гуваич сидел и улыбался своим мыслям. «Как я теперь поиимаю тебя, отец... Вот выходиой деиь, а что-то поднимает и тяиет в эту поездку. Отец, святая простота, хоть ячмеием да базаром оправдывался...»

Из зелеиой аллеи автобус выкатился иа широкий пустырь. В коице его, у самого подиожья горы, за белокамеииой оградой выстроились палатки.

Вот лагерь, весь как иа ладоии. Живописиое место кто-то выбрал для него. Гуваич направился к воротам, по привычке занося за спииу руку с объемистым свертком. Дежуриая, голубоглазая девушка, вскинула руку, приветствуя Гуванча.

— Здравствуй, здравствуй! — ответил он ей.

— Вы присядьте, пожалуйста, иа скамейку, а я сейчас Бегенча иайду. Ребята только что были на пустыре. Модели запускали. А у него модель разбилась. Он, наверное, в мастерской.

Сквозь прутья ограды Гуваич смотрел иа сына. Тот

шел к нему спокойно, жестом мастерового вытирая руки пучком ветоши. Не доходя, поздоровался и сразу предупредил:

— Я к тебе ненадолго. Понимаешь, готовимся к соревнованиям, а я свой «Юпитер» не могу отцентрировать, все время срывается в штопор.

— Ну, а сам-то себя как чувствуешь? Здоров?

— Конечно, здоров! Вы что, с дедушкой сговорились, что ли? И тот без конца приезжает: «Как здоровье?» Как будто я маленький какой.

— Нет, сынок... Мы тебя маленьким не считаем. А приезжаю я просто так, подышать горным воздухом. Душно у нас в городе. А у вас — вон как чисто, свежо!

Бегенч рассмеялся.

— И чего вы меня обманываете? Смотри, смотри, он тоже дышит горным воздухом, — показал мальчик куда-то за плечо отца.

Через пустырь к лагерю на стареньком мотоциклете ехал белобородый старик.

— Дедушка!

— Да-а... — Гуванч сдвинул шляпу на лоб и ожесточенно почесал затылок.

А мальчик хлопотал уже около деда. И Гуванч шагнул к старику, который снимал с мотоцикла поклажу — туго набитую переметную суму, приговаривая:

— Вот тут, Бегенч, яблоки, гранаты, пышки.

— Ты лучше скажи: привез то, о чем я тебя в прошлый раз просил?

— Как же я мог не привезти, если внучек просит! — Старик извлек из глубокого кармана бумажный сверточек и передал внуку. В нем был моток конского волоса.

— О, здорово! Я сейчас! — И Бегенч, поцеловав деда, помчался в глубь лагеря.

— Не понимаю, — сказал отец мальчика своему от-

цу. — Теперь-то чего тебе беспокоиться? Чего хлопотать, ездить в такую даль? Или у него отца нет?

Мухат-ага сжал в кулаке окладистую белую бороду, чуть прищурился, сказал тихо:

— А вот дождешься внуков, поймешь...

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ

Мы пили чай в доме тракториста Союна Мовламова и беседовали. Беседа, собственно, носила несколько односторонний характер: Союн — спрашивал, я — отвечал. Хотя по логике вещей спрашивать полагалось бы мне, так как приехал я в этот отдаленный колхоз с заданием от редакции и моя записная книжка была еще далеко не полна. Несколько робких попыток перехватить инициативу в разговоре окончились неудачей.

Отвечать мне было не легко, но интересно. Дотошного Союна живо волновало все: последнее заседание Генеральной Ассамблеи ООН, мое мнение — долетит ли наша межпланетная станция до Венеры, сколько новых микрорайонов построено в Ашхабаде, почему наши прозаики и поэты так мало и, главное, неинтересно пишут о сегодняшней жизни села...

Словом, просидели мы не один час. И когда наконец удовлетворенный Союн угомонился, у меня уже не достало решимости задавать свои вопросы. Зайду перед отъездом в правление колхоза, решил я, там мне подберут необходимые факты, кое-что у меня уже есть — достаточно для очерка.

На тумбочке у окна щелкнул и зашипел репродуктор. Потом мягкий грудной голос дикторши стал сообщать колхозные новости за день, и я обрадованно схватился за блокнот — новости были как раз о том, о чем я соби-

рался расспросить Мовламова. В заключение дикторша сказала:

— Сегодня в клубе состоится большой концерт нашей художественной самодеятельности под руководством Арслана Галпакова. После концерта будет демонстрироваться кинофильм «Обыкновенный фашизм».

Репродуктор снова зашипел и щелкнул. Наступила тишина. Сцеживая из чайника в пиалу последние горькие терпкие капли, Союн пробормотал:

— «Обыкновенный»... чтоб тебя...

Конца фразы я не расслышал, но и без того смысл был ясен.

— Пойдем в клуб? — спросил Союн.

Я заколебался.

— Пойдем, пойдем, не пожалеете. Оркестр у нас хороший и хор хороший — спасибо Арслану. Да и сам он, как заправский бахши поет — стоит послушать.

— Он что, специально учился музыке?

Союн неодобрительно покосился, словно я сказал какую-то бестактность.

— Учился... Научили его фашисты под Кюстрином! Так научили, что... Однолетки мы с ним, понимаете? Росли вместе, в школу вместе бегали, в альчики играли. Но он всегда меня обыгрывал — глаз у него точный был. А потом разошлись наши интересы: он в педучилище пошел, я — по сельскому хозяйству. Когда война началась, меня не взяли: камни какие-то в почках обнаружили. А он — пошел на фронт. Сражался геройски, награды получал, офицером стал. Мы его письма всем колхозом в сельсовете читали. А потом вот случилось это...

Союн закурил и замолчал, пыхтя сигаретой.

— Да не тяните вы, бога ради! — не выдержал я. — Что он, калекой вернулся, что ли? Без рук, что ли? Без рук, без ног?

— Слепым он вернулся! — Союн смял окурок в пепельнице. — Ну, как, идете в клуб или отдыхать будете?

Я поднялся.

— Собирайся быстрее и догоняй нас! — крикнул Союн жене. — Мы на концерт пошли.

Влажным дыханием весны веяло с полей. Фруктовые деревья стояли в сплошной кипени цветов. Солнце уже село, но было еще светло, и алое многоцветье заката высвечивало западный край неба. Краски были настолько чисты и палитра их так непередаваемо богата, что невольно подумалось: нет для человека большего несчастья, чем лишиться возможности видеть всю эту красоту мира — огромного, яркого и прекрасного. Можно представить себе все: что ты глух, нем, лишен возможности двигаться, но нельзя представить себя живущим за сплошной — без единого проблеска! — стеной мрака. От одной этой мысли можно с ума сойти...

Со всех сторон по направлению к клубу двигались люди. Обычно мы склонны представлять, что клуб — это только для молодежи. Но шла не только молодежь — шли пожилые, шли старики, в одиночку, группами, семьями, шли принаряженные, как на праздник, оживленные, словно и не было сегодня многотрудного дня весенней полевой страды.

— Крепкий он был, — задумчиво произнес Союн, как бы продолжая наш разговор. — Из него слезу выжать было — что из камня воду. Один только раз и видал я, как он заплакал...

Я деликатно промолчал, ожидая, что Союн закончит свою мысль. Но он не торопился. И тогда я задал наводящий вопрос:

— Он один живет?

— Зачем один? — удивился Союн. — Женат. У него ребят — дай бог каждому: восемь душ и один другого лучше! Послушайте, а правду говорят, что, когда муж и

жена очень сильно любят друг друга, дети рождаются красивыми?

Я пожал плечами.

— Не знаю. Возможно, что и так, хотя, по-моему, все дети — красивы.

— Не спорю, — согласился Союн. — Но у него — особенные, как на подбор. Наверное, все-таки правду люди говорят.

То ли моему собеседнику очень хотелось, чтобы это было именно так, то ли он был убежден в этом.

Клуб заполнился быстро.

Мы отыскали местечко поближе к сцене. Мовламов положил на соседнее кресло шапку: занято, — и, вытягивая шею, стал высматривать жену, так и не нагнавшую нас по дороге к клубу. Наконец высмотрел, замахал рукой: иди, мол, сюда.

— Сидите, — отказалась она, — я здесь, с ребятами, они мне и место сохранили.

Союн хотел что-то возразить, но тут в зале раздались аплодисменты, и мы повернулись к сцене.

Там уже рассаживался оркестр дутаристов. Солист настраивал свой инструмент, склоняя голову то к одному, то к другому плечу. Это был красивый, плечистый, по-военному подтянутый человек в новеньком, с иголочки костюме и черных очках. Весь его облик совершенно не соответствовал представлению о слепом калеке, и я не вдруг понял, что это и есть Арслан Галпаков.

Добившись нужной тональности дутара, он заиграл, и оркестр подхватил за ним звучную мелодию Чары Тачмамедова «Мои друзья». За ней последовала вторая мелодия, третья, пятая. Я слушал и смотрел на чуткие пальцы солиста, на его одухотворенное лицо. Я не видел перед собой человека, обойденного судьбой, угнетенного своей неполноценностью. Нет, не видел. Потому что в музыке, которая рождалась под пальцами дутариста, искрилось яркое солнце, качались под ветром багряные ча-

шечки весенних маков, взблескивала вода горного ручья, плыли воздушные облака по бездонной сини неба, скакали по траве игривые жеребята. Радостью, полнокровной радостью жизни звенел и пел дутар Арслана Галпакова.

А потом запел сам Арслан. У него был не очень сильный, но исполненный такого проникновенного чувства голос, что я вполне разделял восторженность слушателей и вместе со всеми аплодировал каждой песне, не жалея ладоней.

Да, этот человек не мог быть и не был пасынком жизни.

Не успел окончиться концерт, как киномеханик включил радиолу и первые пары молодежи закружились в проходе между креслами и сценой.

Мы решили выйти покурить.

Перед нами к выходу пробиралась супружеская пара. Старик оглядывался на танцующих и сетовал:

— Где мои годы молодые? Эх и сплясал бы я сейчас! Лучше, чем они...

Он споткнулся на пороге. Старуха поддержала его, ворча:

— Под ноги смотри, а не на молодых девушек! Плясать ему захотелось на старости лет!

Посмеиваясь, мы вышли на крыльцо, закурили. Здесь же Союн и познакомил меня с Галпаковым. Арслан оказался очень живым и остроумным собеседником, и вскоре от моей первоначальной скованности, равно как и от желания сочувствовать, не осталось и следа.

Во время киносеанса мы сидели рядом. Изредка я посматривал на Арслана. Он сидел в свободной, непринужденной позе. Но по его сосредоточенному лицу и нервно вздрагивающим крыльям носа чувствовалось, что он сейчас видит значительно больше, чем происходит на экране, что он — не здесь, в зале колхозного клуба, а там, где ахает от взрывов земля и скрежещут гусеницы тан-

ков, где безымянный капитан поднимает в атаку роту. Это он, капитан Арслан Галпаков, поднимает своих бойцов для последнего удара по обыкновенному, но трижды на веки веков проклятому фашизму!..

Я видел этот фильм еще в Ашхабаде — сначала в кинотеатре, потом — на экране телевизора, и тем не менее острота впечатлений сохранилась прежняя. Мне тоже временами казалось, что на плечах моих майорские погоны, а в руке — пистолет, что не проекционный аппарат, а пулемет стрекочет в темноте за спиной и луч прожектора протянулся через зал до экрана, оживляя давно минувшие годы, оживляя пройденное и пережитое.

Когда мы вышли на улицу, я с невыразимым облегчением вздохнул ночной воздух, ощутив, что сквозь аромат цветущих садов пробивается не гарь пожара, не кисловатый запах тротила, а добрый, мирный, домашний дух тамдыра; что не танки, а трактора рокочут где-то далеко на поле; и в небе сияет просто луна, а не осветительная ракета, «люстра», как мы их называли.

— Арслан, давай зайдем к нам, выпьем по пиалке чая, — предложил Мовламов. — Вот товарищ из Ашхабада тоже фронтовик — побеседуете с ним, расскажешь ему о себе.

Порыв ветра прошумел в ветвях деревьев, по спокойному лицу Арслана скользнула тень.

— Не люблю я болтать, — ответил он неохотно и тут же, спохватившись, поправился: — Извините, рассказчик из меня не шибко складный, да и старое ворошить... Однако, как говорится, гость старше отца. Только уж милости прошу в мой дом — он поближе.

Мы согласились.

Не первой молодости, но удивительно сохранившая

свою миловидность и статность женщина — жена хозяина — расставила перед нами чайники и пиалы и ушла, пообещав скорый ужин. Я перехватил ее взгляд, брошенный от двери на Арслана, и невольно вспомнил слова Союна о красивых детях. И еще я подумал, что нет, вероятно, большего счастья, чем заслужить вот такую любовь, над которой не властны ни житейские невзгоды, ни время — ничто.

Арслан рассказывал.

Сперва он был суховат и сдержан. Однако постепенно разговорился и уже, казалось, проето вспоминал вслух, вспоминал для себя, позабыв о гостях.

...Военная судьба благоволила к нему: за все время на фронте он ни разу не был ранен, даже легко. Он был отважен, хотя и не слишком верил в солдатскую примету, что смелых, мол, и пуля сторонится — рядом погибали безусловно храбрые, большого мужества люди. Просто ему везло. Он получил медаль «За отвагу», потом — Красную Звезду, потом — орден Отечественной войны. На его солдатских погонах появились сперва сержантские лычки, за ними — офицерские звездочки. Все это было честным признанием его ратных трудов — воевал он зло, умно, талантливо, всем своим существом ненавидя гитлеровскую нечисть, приползшую на землю Страны Советов.

Беда пришла внезапно, как и всегда она приходит, хотя б ее ждали с минуты на минуту. Был бой. Рота шла в атаку. Громыхнул разрыв снаряда, с треском разорвав перед стеной тьмы полотнище дня. И мир исчез.

Вновь ощутил себя Арслан уже в госпитале. Он слышал шаги, голоса в палате, обонял запахи лекарств, чувствовал вкус пищи, веяние сквозняка из открытой форточки, прикосновение рук санитарки и сам мял в пальцах жесткое полотно госпитальной простыни. Мир воз-

вращался — мир звуков, запахов, осязания, вкусовых ощущений, биения мысли. Не возвращался только свет — мир красок и образов навсегда остался за черной стеной тьмы.

Это были дни кошмаров, метания и безнадежности. Нет, он не бился в истерике и не требовал пистолет, хотя неизвестно, как бы он поступил, попади ему в руки оружие. Он то погружался в безмолвную бездну отчаяния, то грыз подушку и глухо, тихо рычал. Сон приходил как великое благо. А проснувшись, Арслан усиленно моргал и протирал глаза, лишь через несколько мгновений соображая, что все это — ни к чему, все это — напрасно. И снова накатывало тяжелое паровозное колесо тоски.

Постепенно он затих и успокоился, насколько можно было успокоиться в его положении. Умирать он не собирался, но как жить дальше?

Он думал о матери. Для нее сын желанен всегда, каким бы он ни вернулся. Но страшно было возвращаться искалеченным. Конечно, он не сядет на материнскую шею — ему назначат пенсию, он станет работать...

Работать? А на какую работу способен слепой? Был в их селе Кешик-ага, ослепший от трахомы. Постукивая перед собой клюшкой, он медленно бродил от дома к дому. К нему относились уважительно, усаживали на почетное место, поили чаем, слушали стариковские рассказы, соглашались с его советами. Не потому слушали и соглашались, что это было интересно и правильно, скорее из молчаливого сочувствия к человеческому несчастью. Арслан тоже жалел старика и одновременно испытывал какую-то робость: казалось, не живой человек, а бесплотная тень ходит по земле, казалось, какая-то невидимая таинственная преграда отделяет слепого Кешика-агу от остальных людей. Неужели и ему суждено то же самое?

Ои содрогался от этой мыслн и снова думал, думал, думал. Ои перебнрал в памяти все, что только могло подсказать ему воображенне. Об одном лншь он боялся, не хотел, ие смел думать — о Гулялек. Она для него уже ие существовала, она нсчезла за той снарядной вспышкой, на том поле под Кюстрнном...

Разрешнться сомненням помог сосед по палате — безногий флотский старшина. Это был самый беспокойный из раненых — скрнпя костылем, целый день скакал он по палате, балагурнл с саннтарками, рассказывал невероятиые фроитовые исторнн, вслух строил фантастические плаиы своего будущего. На первых порах ои невыносимо раздражал Арслана, но он же н помог восстановнться душевному равиовесию.

Однажды старшииа подсел иа койку к Арслаиу и полюбопытствовал:

— У тебя что, капитан, ии родиых, ии знакомых не имеется в иаличин?

— Имеется, — хмуро ответил Арслаи, ие расположенный к разговорам.

— А почему пнсем не получаешь и сам ие пишешь?

Арслан взорвался.

— Вот сейчас сяду и напишу! Мелешь сам не знаешь что... Ты зажмурившись писать ие пробовал?

— Видали чудака? — удивнлся моряк. — А локоть друга иа что? Диктуй — я тебе в полиом аккурате все иа бумаге изложу!

— По-туркменски изложишь? — спросил Арслан и злорадио усмехиулся.

Помолчав, тот спросил уже ие так уверенио:

— Что ж, у вас русского иикто не разумеет, что лн?

— Ну, уж тут ты меня извини! — отрезал Арслаи. — Мать у меня — туркмеика!

Однако старшниа оказался иеобидчивым и иастырным. Арслаи, сам ие понимая, как это получилось, вы-

ложил ему все. И сразу на душе стало как-то легче, просторнее, словно вынырнул из воды на поверхность.

Выслушав Арслана, моряк крякнул и решительно заявил, что только самый распоследний лопух может говорить такие глупые слова, когда дома его ждет старушка мать. Что касаемо девушки, то тут он, старшина, гарантий дать никаких не может, девушка она есть девушка и вольна поступать, как ей сердце укажет. Да ведь на ней, на одной, свет клином тоже не сошелся. А что до остального прочего, сказал старшина, то руки-ноги есть, голова имеется — прибьешься к своему месту в жизни, не пропадешь.

Старшина был горазд не только на слова. Он ухитрился разыскать в госпитале раненого туркмена, привел его в палату и заставил Арслана диктовать письмо. Вместе с Арсланом ждал ответ из села, волновался, почту ругал. Словом, стал он для него ближе близкого, и, когда его выписали из госпиталя, Арслан тужил, будто с братом родным расстался.

Вскоре выписали и Арслана.

Он много думал о встрече с матерью и земляками, готовил себя к ней, перебирая все, казалось бы, возможные варианты. И все же неспокойно, смутно было на сердце, тем тревожнее, чем ближе становился дом.

Из всех ушедших на фронт односельчан он возвращался первым. Встретили его без малого всем колхозом. Не играл оркестр, не было торжественных речей, но от теплых, сердечных слов приветствия, которые неслись со всех сторон, волнение все туже стискивало горло Арслана. Ведь никто, ни один человек не упомянул о его несчастье, не раздалось ни одного слова жалости! К нему обращались так, будто ничего с ним не случилось!

Он не видел, как, теряя с головы платок и старенькие

ковуши — с ног, бежала к нему мать. Он только почувствовал, как прильнуло к нему ее сухонькое тело, прижалось к груди лицо, и гимнастерка на груди стала горячей и мокрой. Он боялся, что не совладает с волнением, и поэтому молчал. Молчал и гладил мать по голове.

Он вслушивался в голоса сельчан и радостно узнавал то одного, то другого. Тьма постепенно отступала, серела, сквозь нее уже просвечивали какие-то неясные контуры.

— Ты не думай, парень, что прохлаждаться приехал,— гудел под его ухом басок, и Арслан убеждался, что по голосу очень явственно представляет себе облик председателя колхоза, его манеру теребить в пальцах редкую бороду. — Не думай о вольных хлебах. Мы уж тут прикидывали, какую тебе должность сообразно твоему званию капитанскому назначить. Так что долго бездельничать не дадим, не рассчитывай.

«Дорогие мои! — хотелось крикнуть Арслану. — Да не собираюсь я бездельничать!.. Спасибо вам за все!..» Но он не решался заговорить, и лишь гладил материнские волосы да делал глотательные движения, стремясь освободиться от удушья.

Вдруг голоса как-то очень быстро, один за другим, затихли. Молчание удивило и встревожило Арслана, не понимающего, что случилось. На секунду кольнула шальная мысль, что все это — только сон, что его протянутая рука сейчас нащупает жесткую госпитальную простыню...

Он протянул в пустоту руку, и тотчас ее коснулась другая рука — очень маленькая, очень нежная. Арслан вздрогнул, как от удара электрического тока, а тихий голос Гулялек сказал:

— Здравствуй, Арслан... Мы тебя так ждали!

И тогда Арслан заплакал...

...Мы молчали, взволнованные этой бесхитростной и светлой человеческой историей. Арслан снял свои темные

очки и сидел, закрыв лицо ладонью. Пальцы его дрожали.

— Да, сильно вы ее любили, — сказал я.

Он встрепенулся, тряхнул головой.

— Не в том дело, что любил... Передо мной, понимаете, словно бы солнечный свет засиял. Как-то сразу я поверил в свою полноценность, в свои возможности, в будущее. Я снова был в строю, вместе со всеми. Вот потому и не сдержался...

Его лицо было уже спокойно, на губах появилась легкая улыбка — он как бы извинялся за то, что так просто раскрыл перед нами сокровенные уголки своего сердца.

А я смотрел на его глаза — живые, ясные, без единого изъяна глаза и верил, что они видят и солнце, и горы, и людей, и полевые маки, и влажную черноту пашни — видят всю огромную, всю сказочную красоту мира.


Очерки.

ЖИВОЕ СЕРДЦЕ НАРОДА

В Москве проходила Неделя туркменской культуры. Один из залов Выставки достижений народного хозяйства был украшен ковровыми портретами. Основное внимание посетителей привлекал прекрасно выполненный ковер портрет Владимира Ильича Ленина.

Среди посетителей выставки были официальные гости из зарубежных стран, иностранные туристы.

— Что это такое? — задал вопрос один из них.

— Ковровый портрет, — ответили ему

— Это я вижу, — с явным снисхождением к нашей непонятливости усмехнулся спрашивающий. — Меня просто интересует технология нанесения портрета на ковровую основу.

— Технология проста — портрет ткется как единое целое с ковром.

—О-о-о! — снисхождение в тоне туриста сменилось недоверчивостью, пожалуй даже иронической. — Какой же великий мастер делает такие уникальные вещи?

Неподалеку стояла миловидная туркменка в национальном платье из расшитого кетени и модельных туфельках на высоком каблуке. Стояла скромно, застенчиво, словно происходящее ее не касается.

— Вот мастер перед вами,— указали на нее любопытному гостю. — Она и ее подруги ткут такие ковры.

— О-о! — снова сказал турист. — Вот эта женщина?.. — И спросив: — Разрешите? — потрогал рукой ворс портрета...

Вспоминая этот случай, я далек от желания иронизировать над недоверчивостью человека, впервые увидевшего ковровый портрет. Я — туркмен, и для меня привычно сложное искусство ковроделия, и не удивляет, что на одном квадратном метре ковра мастерица вяжет от трехсот тысяч до миллиона узлов. Но порой и меня подмывает подойти и потрогать рукой плотный, шелковистый и теплый, как живое человеческое тело, ворс. Потрогать, чтобы убедиться, что портрет действительно выткан, а не нарисован.

Вот передо мной на коврах, висящих в Союзе писателей Туркменистана, словно подсвеченные изнутри глаза Льва Толстого, тревожная мысль в четком абрисе лица Максима Горького, задумавшийся в творческом порыве Махтумкули, Молланепес, Кемине. И среди них — Владимир Ильич Ленин.

Ленин. С его образом начал свое триумфальное шествие по планете туркменский ковер-портрет! Образом вождя в туркменском изобразительном искусстве открылась новая — прекрасная и величественная — страница.

...Это было в 1924 году. В далеком селе Каракёель, на острове Челекен, жил Байли Шарапов. Он радовался, что с установлением Советской власти кончилось голодное существование односельчан, радовался за детей, получивших возможность учиться в школе. Радовался и знал, что радость эту дал человек, которого он никогда не видел, но которого чтил превыше родного отца. И горше каспийской морской воды было горе Байли Шарапова, когда он услыхал о смерти Ленина.

Что делать? Поминать его имя в молитвах? Стать бахши и петь людям песни о Ленине? Но ведь это был человек, равного которому еще не рождалось на земле! Чем-то совершенно необычным, новым, как сама жизнь, которую он дал туркменам, должно быть увековечено его имя!

И Байли Шарапов принес домой плакат с портретом

Ленина. Принес и велел жене: «Вот это будет твой ковер!»

Курбангуль обомлела: как можно ткать изображение человека? Ведь коран строго-настрого запрещает это! Да и не сумеет она выткать человеческое лицо. Разве есть мастерица, которой это под силу?

Но строгим было лицо мужа и печальным, не приказывал — убеждал он: «Ты будешь первой, нарушившей запрет, и первой, кому это под силу. Ленин тоже был первым человеком, он дал счастье целому народу. Смотри на него — он даст тебе умение сделать то, чего не делала ни одна туркменская ковровщица».

И Курбангуль натянула на своем станке нити ковровой основы, запаслась пряжей, взяла в руки тяжелый гребень-дарак. Ей помогала Сапаргуль — сестра Байли. Почти два года упорно трудились женщины, все больше вдохновляясь своей необычной работой, удивляясь тому, что она получается, и веря, что умение это действительно, как сказал Байли, исходит от человека, чей образ с каждым завязанным узелком пряжи принимает все более ясные и законченные формы.

Так был создан ковровый портрет Ленина — первый в истории туркменского ковроделия ковер-портрет.

Много раз с тех пор образ Ильича вдохновлял туркменских ковровщиц. Много раз под ударами дарака[1] звенели струны основы и под чуткими пальцами мастериц рождались портреты более красочные, более совершенные, чем тот, который соткала в 1925 году челекенская ковровщица Курбангуль Шарапова. Но первый — стоит особо. И не столько из-за того, что он формально был первым ковром-портретом. А потому, что он положил начало одной из форм борьбы туркменской женщины за свои человеческие права, борьбы против старых догм и канонов.

---

[1] Дарак — орудие труда ковровщицы.

Не следует думать, что личное, обществеииое, гражданское утверждеиие туркменки свершилось сразу, без сучка и задоринки. Это был длительиый и трудный процесс, это новое утверждалось, может быть, иаиболее сложио и трудио из всего, что пришло в жизиь туркмеи вместе с Октябрьской революцией. И когда мы говорим, что образ Лениииа помогал развитию политического сознания иаших жеищии, это вовсе ие поэтическая гипербола.

В 1927 году появился новый, примечательиый в своем роде ковер, иа сей раз сотканный байрамалийской ковровщицей Биби Ахмедовой. Он примечателеи тем, что его центральное поле образоваио сочетанием трех племеиных узоров — гёлей, в чем усматривается явиый протест ковровщицы против племеиного делеиия туркменского народа. Он примечателеи, тем, что на ием по-русски написано: «Долой калым!» — это было очень смело для женщииы коица двадцатых годов. На что опиралась эта смелость? У иас иет двух толковаиий, ковровщица сама сказала об этом, введя в кайму ковра изображение Ленина.

Вся страиа восславила искусство туркменских мастериц, когда туркмеиская делегация привезла в Москву ковровый портрет Ленина, созданный ашхабадской ковровщицей Амаисолтан Нуралиевой в творческом содружестве с иародным художииком республики Бяшимом Нурали. Еще более совершеииым был портрет вождя, сотканный ковровщицами Оразсолтаи Хаджимурадовой и Айджемал Мурадовой.

Лениискнй образ заиял постояииое место в ковровом искусстве Туркменистана, обогащая и развивая его. Около ста ковровых портретов Ильича создали туркменские мастерицы. Эти ковры можно видеть в музеях Ашхабада, Москвы, Реутова и других городов нашей Родииы. И это — ие статистический, раз и навсегда установлеииый образ. Если мы сравним их, то увидим, что даже те

ковры, в основу которых положена одна и та же картина художника, заметно разнятся между собой, потому что каждая ковровщица вкладывала в работу частицу собственной души, собственных мыслей и настроения.

Большой творческий коллектив мастериц и художников фирмы «Туркменковер» совершенствует искусство ковра-портрета, начало которому положила челекенская ковровщица. Созданы портреты основоположников научного коммунизма Маркса и Энгельса. Созданы портреты Пушкина и Маяковского. В дар украинскому народу поднесли туркменские ковровщицы портрет Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко. В братском Узбекистане находится ковер-портрет классика узбекской литературы Алишера Навои. «Вы делаете редкое и нужное дело, вы творите радость для людей», — сказал каракалпакский писатель Исмаил Курбанбаев, принимая от туркменских искусниц ковровый портрет классика каракалпакской литературы Бердаха. Туркменскими мастерицами вытканы портреты многих государственных деятелей, героев Великой Отечественной войны, первого космонавта Юрия Гагарина...

Вероятно, хватит перечислений. Ковровый портрет стал обычным явлением, ковровое искусство Туркменистана поднялось на новую ступень, получило мировую известность. Об этом свидетельствует успех, завоеванный туркменскими коврами на выставках в Париже, Брюсселе, Нью-Йорке...

Большое искусство творится руками простых туркменских женщин, светлое и щедрое искусство, нужное людям. Не случайно ковровщицы Огульбайрам Ходжагельдыева, Оразгуль Мемедова, Огульнабат Мухаммедова избирались депутатами Верховного Совета СССР, не случайно многие и многие мастерицы туркменского ковра отмечены почетными званиями, правительственными наградами.

Мы с гордостью и душевным волнением любуемся такими чудесными монументальными коврами-панно, как «Ленинизм побеждает», «Дружба народов», «50-летие Октября»... Смотрим и думаем: да, ленинизм действительно побеждает, потому что бессмертный образ и бессмертные идеи вождя видны в биении пульса нашей жизни.

Ковроделие — очень древнее и очень емкое народное искусство. «Расстели свой ковер — и я прочту твое сердце», — утверждает пословица.

И вот мы расстилаем свои ковры — живое сердце народа. В нем много яркого и радостного, в нем величие созидаемого и крылатая мечта, счастье сегодняшего дня и вера в день грядущий. В нем — Ленин.

ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ

Я хорошо знаком с Героем Советского Союза Курбаном Дурды. Помню его в детстве, в пору отрочества и юности. Знаю о его службе в Красной Армии, наслышан о его храбрости на фронте. И теперь, в мирное время, не проходит недели, чтобы мы не повидались.

После демобилизации Курбан Дурды вернулся в родной колхоз, а вскоре, поступив на подготовительные курсы пединститута, переехал в Ашхабад. После института закончил теоретический курс аспирантуры, и ныне Курбан Дурды — директор Государственного республиканского исторического музея.

Мой друг — человек исключительно простой и скромный. Он всегда жизнерадостен и приветлив со всеми. Живость ума, доброту и отзывчивость отмечают в нем все, кому приходится сталкиваться с ним в повседневной жизни.

Прежде чем взяться за перо, я решил освежить в памяти некоторые факты военной биографии Курбана Дурды и еще раз расспросить героя моего будущего очерка.

Итак, я отправился в простенький домик, расположенный в одном из самых красивых уголков Ашхабада — в саду Кеши. Шагаю туда, а сам думаю: многие сыны туркменского народа были смелыми и отважными джигитами. Сколько богатырей обнажили свои мечи и сражались с врагом в зыбучих песках Каракумов, среди одетых скалами, словно панцирем, отрогов Копетдага и Балхан, в цветущих ущельях и долинах! Сколько дестанов сложено, сколько сказаний передается из уст в уста о легендарных Кёр-Оглы и Кеймир-Кёре!.. Но сейчас я иду к герою не из легенд и дестанов, а родившемуся и выросшему среди нас. Его имя наряду с храбрейшими из храбрых назвал в одном из своих выступлений всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. И недаром. Ведь Курбан Дурды был первым Героем Советского Союза из туркмен.

В детстве мы представляли себе героя здоровенным богатырем, с торчащими усами, с кривой саблей в руках, сидевшим верхом на коне, который в предчувствии боя нетерпеливо рыл копытом землю. У Курбана Дурды нет ни устрашающих усов, ни огнедышащего коня, ни кривого клыча[1]. Он обыкновенный человек, внешне ничем не отличающийся от других. И однако он вдохновлял на подвиги своих соотечественников; следуя его примеру, на поле битвы получили звание Героя за отвагу и другие сыновья туркменского народа — Айдогды Тахиров, Пена Реджепов, Таган Байрамдурдыев, Бердымурад Довлетджанов, Мульки Байрамов, Сапармят Ходжаев... Все они поистине отважные сыновья отважного народа. Нет, не ради красного словца называем

[1] Клыч — туркменская сабля.

мы весь наш советский народ народом-победителем, народом-героем...

Вот и дом Курбана Дурды. Под длинным тенистым навесом, сплошь увитым виноградными лозами, я прохожу в небольшой чистенький дворик. Все вокруг зелено, цветет. Смотришь и не можешь наглядеться на цветы. Ко всему этому приложил свои трудолюбивые руки хозяин дома.

Как о нем писать, думаю я, на что обратить больше внимания? Рассказать о подвигах героя или о его любви к садоводству? Чему отдать предпочтение — его любви к детям или его жизнелюбию?.. Но я обещал рассказать о Курбане Дурды на фронте, именно там, мне думается, и проявилось все то лучшее, что есть в характере моего друга.

Поднимаюсь на веранду и тихо стучу в дверь. В ответ доносится радушный возглас:

— Гость к добру, входите.

Дверь тут же распахивается, и Курбан Дурды сердечно пожимает мне руку. Входим в комнату. Хозяин усаживает гостя на почетное место. Его жена Сабир принимается хлопотать у стола, готовя угощение. Амандурды-эдже, восьмидесятичетырехлетняя мать Курбана Дурды, нянчится с трехлетней внучкой Маечкой. Больше в доме никого нет. Я не спрашиваю, где остальные. Я и сам хорошо знаю это. Старший сын, аспирант Научно-исследовательского института, живет отдельно. Второй сын служит в рядах Советской Армии. Дочь — студентка Туркменского государственного университета имени А. М. Горького. Младшие дети героя учатся в средней школе.

Был у Курбана Дурды единственный брат — Вели. В 1944 году он пал смертью храбрых в жестоких сражениях в Восточной Пруссии. Я гляжу на Амандурды-эдже и думаю, что не только годы, но и неутешная печаль по Вели посеребрила ее голову, что скорбные морщины не

только результат прожитых лет, но и боли за свою дочь Гульдже, муж которой тоже не вернулся с войны...

Украдкой бросаю взор на старушку, баюкающую ребенка. Глаза ее светятся любовью к внучке. Прислушиваясь к беседе, которую ведут мужчины, она гордо поглядывает на сына.

Где же начал складываться характер ее Курбана? В школе селения Чёнгур Сакар-Чагинского района? В колхозе, в котором он трудился? В полковой школе или на поле битвы? Когда он стал пионером или вступил в комсомол? Мои мысли переносятся к годам войны, к годам армейской службы Курбана Дурды, к годам тяжелых испытаний, выпавших на долю нашей Родины, когда джигит с берегов Мургаба с оружием в руках встал на защиту Отчизны от паучьей свастики, выползшей из фашистского логова.

В перерыве между боями Курбан Дурды приводил в порядок оружие. Атаки гитлеровцев отбиты, и враг отброшен за Прут. В памяти младшего сержанта возникали охваченные пламенем, налитые зерном хлеба, с грохотом рушащиеся стены домов, горькие слезы обездоленных стариков, плач детей... Сердце воина сжималось от горя. И вдруг перед внутренним взором возникли родные края... Широкое поле цветущего хлопка расстилается перед ним, словно раскрывая свои объятия. Звенит вода в арыке, берега которого поросли чаиром. Пьянит душу аромат созревших дынь. Спелые арбузы ласкают глаз...

...1934 год. Комсомольское собрание, на котором Курбана принимают в ряды Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. «С сегодняшнего дня ты — комсомолец!» Рукопожатия и поздравления друзей...

...1938 год. Призыв в Красную Армию. Прощание с родными и близкими. Полковая школа. Первое назна-

чение; он командир отделения. Освобождение Западой Украины и Бессарабии.

Начало войны застало Курбана Дурды в городе Единцы, неподалеку от реки Прут... Он был одним из первых, кто принял бой с вероломными захватчиками. Вот уже пятые сутки отделение Курбана Дурды ведет непрерывные бои. Одна контратака за другой, штыковые бои — все словно кадры кинолетны проходит в его памяти. Пятеро суток почти без сна, без еды, без отдыха.

Курбан Дурды вспомнил свой 389-й стрелковый полк 176-й стрелковой дивизии, вспомнил 9-ю роту 3-го батальона. Вспомнил свой взвод и свое отделение. Перед взором младшего сержанта проходили ефрейтор Бочаров, рядовые Рахимов, Велиев и другие. «Я туркмен, — думал Курбан Дурды, — Бочаров — русский, Рахимов — узбек, Велиев — из Азербайджана... Все мы будто сыновья одной матери, братья, друзья. Ох, просчитался Гитлер! Пожалеет, что тронул нас!»

26 июня 1941 года, на пятый день войны, в полк, в котором служил Курбан Дурды, прибыл командир дивизии. Он долго беседовал с командиром полка подполковником Крамским, опытным и боевым офицером, участником войны в Испании, грудь которого украшали три ордена Красного Знамени. Речь шла о разведке в тыл врага, по ту сторону Прута.

— У вас найдутся подходящие люди?

— А как же, товарищ комдив! — ответил командир полка.

— Что ж, называйте...

— Отделение младшего сержанта Курбана Дурды,— поразмыслив, предложил Крамской.

— А, помню, помню! — оживился командир дивизии. — Верно. Знаю его. В походах на Западную Украину и в Бессарабию видел... Вызовите его.

Рота Курбана Дурды располагалась довольно далеко. Однако от штаба полка до батальона, от батальона до роты, от роты до взвода приказ командира дошел за время, которого не хватило бы даже на то, чтобы выпить пиалу чаю.

Младший сержант мгновенно привел себя в порядок и отправился в штаб полка. «Не справиться же о моем здоровье вызывают, — размышлял он по пути. — Видимо, дело какое-то... А может, отругать за что-нибудь?.. Но это поручили бы комбату или ротному. Нет, тут что-то другое... Не станут же вызывать в штаб по пустякам...»

С этими мыслями предстал он перед командиром дивизии:

— Товарищ комдив, разрешите обратиться к подполковнику? — И, получив разрешение, вытянулся перед Крамским: — Младший сержант Курбан Дурды явился по вашему приказанию!

Вскоре все трое склонились над расстеленной на столе картой. Командир дивизии и командир полка разъяснили командиру отделения боевую задачу. Курбан Дурды делал пометки на своей двухверстке.

Так прошло около часа.

— Ну, все ясно? — пристально взглянув на младшего сержанта, спросил комдив.

— Так точно, товарищ комдив, задача ясна, — отчеканил Курбан Дурды.

Вечерело. В темноте отделение Курбана Дурды незаметно подошло к берегу. Задача была разъяснена всем. Это была их первая вылазка в тыл врага, и бойцы волновались.

Ни шороха, ни звука. Внизу тускло поблескивала вода. Среди камышей темнели рыбацкие лодки. Место для переправы выбрано не случайно. Густой высокий лес на той стороне реки подходил к самому берегу, и было известно, что немцы туда и носа не показывают.

Тихо дышала река. Лишь изредка всплескивала рыба, да вода, накатываемая на берег легким ветерком, шевелила прибрежный песок и шуршала камышом. Удивительный покой царил вокруг.

«Эх, здесь бы влюбленным гулять,—со вздохом подумал Курбан Дурды. — Проклятый Гитлер!»

Неожиданно гладь реки осветила ракета. За ней вспыхнула другая, третья. Неужели фашисты засекли их?! Бойцы, сдерживая дыхание, прижались к земле. Прошло несколько томительных минут. Вновь стало темно и тихо.

Когда глаза привыкли к темноте, командир роты лейтенант Олесишвили, провожавший своих людей на задание, посмотрел на светящийся циферблат часов и кивнул Курбану Дурды. И тут же, словно по его команде, где-то вдалеке загрохотали орудия, раздался треск пулеметных очередей, вой мин. Словно гром расколол небо.

Младший сержант взглянул на лейтенанта, и они понимающе улыбнулись друг другу. Все шло по плану: отвлекают внимание противника огнем на другом участке.

Лейтенант коротко шепнул:

— Пора, — и прижал к груди Курбана Дурды. — В добрый путь! Благополучного возвращения, друзья!

Что еще мог сказать командир роты, провожая своих солдат в опасное боевое задание? Он был с ним все время. Вместе они тщательно отработали все детали поставленной перед отделением задачи. И все же, несмотря на то что лейтенант был уверен в своих бойцах, он с трудом сдерживал тревогу.

Стараясь не шуметь, разведчики один за другим спустились с крутого берега к лодкам. Осторожно уселись в одну из них. Двое столкнули лодку на глубину и перевалились в нее через борт.

Бойцы лежали на дне лодки и только один, пригнув-

шись, бесшумно загребал веслами. Уключины, чтобы не скрипели, были заранее обмотаны тряпками.

Стоявший в камышах лейтенант Олесишвили, напряженно вслушиваясь в тишину, смотрел им вслед, даже когда лодка скрылась во мраке. На всякий случай на берегу был скрыт пулемет. Если противник обнаружит разведчиков и им придется возвращаться, друзья прикроют их огнем.

Грохот орудий не умолкал. Немцы начали отвечать. Завязалась артиллерийская дуэль. Курбан Дурды с товарищами достигли противоположного берега и, тщательно укрыв лодку, по-пластунски преодолели прибрежную полосу.

Перед тем как войти в лес, Курбан Дурды обернулся. Река спокойно катила свои воды. Стрельба стихла внезапно, как и началась. Невдалеке под прибрежными кустами громко ударила щука, и вновь тишина воцарилась вокруг. «Не таясь ходить бы тут, во весь рост, с песней», — подумал младший сержант и на прощание помахал рукой в ту сторону, где конечно же, он был в этом уверен, все еще стоял лейтенант Олесишвили.

— За мной, ребята, — сказал Курбан Дурды и во главе своих солдат зашагал лесной чащей на запад.

Что ждало смельчаков впереди? Какие испытания выпадут на их долю? Младший сержант не задавался подобными вопросами. Он думал лишь об одном: как бы побыстрее пробраться в тыл к противнику и приступить к выполнению задания.

Поглядывая на компас, Курбан Дурды быстро шел вперед. Солдаты не отставали от него. Замыкающим в цепочке двигался с ручным пулеметом самый меткий стрелок в отделении ефрейтор Бочаров.

Вдруг где-то в стороне раздалась пулеметная трескотня. Разведчики затаились. По знаку Курбана Дурды рядовой Рахимов пополз выяснить, что там происходит.

Несколько минут, которые он отсутствовал, показались вечностью бойцам, приготовившимся к обороне. Наконец послышался хруст валежника.

— За реку стреляют, товарищ командир, — шепотом доложил Рахимов. — Два пулеметных расчета. Может, снимем их потихоньку?

— Горяч ты, — упрекнул товарища Курбан Дурды.— На обратном пути... Сперва нужно выполнить задание...

Он раскрыл планшет и нанес на карту первые данные разведки — огневую точку противника.

Отделение двинулось дальше. До рассвета следовало пройти довольно большое расстояние и достичь шоссе, ведущего к мосту через Прут.

Лес, казалось, не кончится. Высокие деревья тихо шелестели невидимыми кронами, словно шептали бойцам, что тем нечего опасаться под их защитой. Шли долго, без отдыха, форсированным маршем. Подстегивало время. И, как говорится, кто хочет, тот добьется: отделение достигло заранее намеченной цели еще до рассвета.

Разведчики выбрали место, удобное для наблюдения, метрах в пятидесяти от дороги, замаскировались. И в самое время. Небо на востоке заалело. Внимание Курбана Дурды и его товарищей привлекло и село, раскинувшееся вдоль шоссе. Почти у каждой хаты стояла машина с антенной. Видимо, здесь располагался штаб крупного соединения. Догадка перешла в уверенность, когда с рассветом движение на дороге оживилось. В село все время подтягивались бронетранспортеры, но долго не задерживались и вскоре следовали дальше, о чем можно было судить по затихающему вдали гулу моторов. К самому большому дому, который хорошо просматривался с того места, где засели разведчики, беспрестанно подъезжали мотоциклисты. Торопливо взбегая на крыльцо и проведя в помещении несколько минут,

они так же торопливо выбегали и, оседлав мотоциклы, срывались с места.

Все увиденное Курбан Дурды заносил в тетрадь и на карту. Медленно шло время. Начало припекать солнце. Даже в тени стало жарко.

Вдруг послышался глухой рокот и лязг. На дороге показались танки. Разделившись на две колонны, они охватили село с двух сторон и остановились. Разведчики насчитали более двухсот танков, около ста артиллерийских тягачей, много автомашин, до отказа набитых солдатами.

Во второй половине дня появились самолеты с черными крестами на фюзеляжах. Один за другим они шли на посадку где-то за селом.

— Ого! Да тут, оказывается, полевой аэродром! — шепнул Бочаров командиру отделения, который зарисовывал силуэты незнакомых самолетов.

Скучать не приходилось. Тетрадь и карта были испещрены записями, рисунками и условными знаками. Все бы ничего, если бы не донимали муравьи! Маскируясь в темноте, разведчики не заметили, что потревожили муравейник. Место менять уже было нельзя. Приходилось терпеть. А тут и другая беда — жажда. Курбан Дурды тревожно оглядывал солдат: выдержат ли? Губы у всех пересохли и потрескались. Обычно смуглое лицо Велиева побледнело. Бочаров то и дело облизывался сухим языком. Заметив обращенный на него взгляд командира, Рахимов вытер локтем покрытое пылью лицо, попытался улыбнуться и отвернулся...

Жажда! Пить! Курбану Дурды, выросшему в краю Каракумов, не надо было объяснять, что это такое. И все же муки жажды здесь были пострашнее. В пустыне бывают миражи. Сколько ни беги, сколько ни ползи к обманчиво поблескивающему невдалеке озеру, воды не достигнешь. Здесь было иначе. В стороне, буквально в нескольких шагах от разведчиков, на открытом месте

журчал прозрачный манящий родничок. Самый настоящий родничок, не мираж! Как ни старались бойцы не смотреть в ту сторону, вода нет-нет а притягивала их взоры, словно завораживала. Рахимов от злости даже закрыл глаза. Не удержался и Велиев, но тут же уткнулся носом в землю и принялся жевать стебелек. Младший сержант хмуро посмотрел на него. Боец весь както сжался, словно уличенный в дурном поступке мальчишка.

Да, в десятке шагов от них поблескивала на солнце вода. Но близок локоть... Пойти туда — увидят немцы, а это значило погубить себя и товарищей, провалить боевое задание. Это понимали все и терпели... А тут еще проклятые муравьи. И даже чертыхнуться громко нельзя.

Уже стемнело, когда разведчики собрались в обратный путь.

— Вот теперь и пейте вдоволь, — шепотом сказал командир.

Бойцы подползли к воде. Пили взахлеб, жадно, словно желая осушить весь родничок. Намочили пилотки и обтерли потные, горящие от муравьиных укусов тела. Последним напился Курбан Дурды.

— Не забывайте, задание еще не выполнено, — сказал он, когда разведчики углубились в лес. — Самое главное впереди: добраться до своих.

— Понятно, товарищ младший сержант, — послышалось в ответ.

— А как те пулеметчики? — спросил Рахимов.

— Что ж, «языка» прихватить неплохо... Посмотрим...

Разведчики шли обратно к Пруту. Поздней ночью лес перед ними вдруг расступился. Разгоряченные лица ласкал прохладный ветерок с реки. Курбан Дурды осмотрелся. Они вышли немного ниже лодки и краем леса двинулись вдоль берега. Вдруг посланный в дозор Рахимов просигналил: «Путь закрыт!»

Впереди была огневая точка, та самая, которую они приметили прошлой ночью. Курбан Дурды решил все же не рисковать и обойти немцев стороной. Но только они двинулись вперед, как раздался громкий окрик:

— Хальт!

Не растерявшись, разведчики вместо ответа принялись забрасывать гитлеровцев гранатами. Несколько трупов осталось лежать на земле. В сторонке, подняв над головой руки, вытянулся немец.

— Сдаваюсь! Сдаваюсь! — кричал он.

Кроме него разведчики взяли в плен еще пятерых. А тем временем по обе стороны Прута заговорили пулеметы. Завела свою музыку и артиллерия. Ракеты стали освещать местность. «Как бы под огонь своих не попасть», — подумал Курбан Дурды и приказал углубиться в лес, чтобы под его прикрытием выйти к переправе.

Связанные по рукам немцы ошалело шагали впереди. Разведчики, нагруженные трофейными автоматами, шли следом, подталкивая пленных.

Вскоре вышли к лодке. Связав пленным ноги, разведчики положили их на дно, туда же свалили и все захваченное оружие.

Уже было совсем светло, когда они достигли берега, и Курбан Дурды доложил не скрывавшему своей радости лейтенанту Олесишвили о выполнении задания. Разведчики переходили из объятий в объятия. А вскоре младший сержант уже протягивал карту и тетрадь с записями командиру дивизии.

— Здесь все данные, товарищ комдив, — доложил он. — А кое-что смогут дополнить и эти, — кивнул он в сторону пленных.

В тот же день наша авиация и дальнобойная артиллерия разгромили штаб армейского корпуса, уничтожи-

ли аэродром, много живой силы и техники врага. Готовящееся на этом участке наступление немцев было сорвано.

* * *

Запомнился мне и рассказ Курбана Дурды о .о ранении. Это случилось 27 июля 1941 года, когда наши войска вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника.

Неся большие потери, 389-й полк, в котором служил Курбан Дурды, вынужден был с ступить. Немцы захватили ключевую высоту. Отбить ее надо было во что бы то ни стало. Две попытки окончились неудачей. Враг изо всех сил цеплялся за высоту. Еще одну попытку было решено предпринять на исходе дня, когда немцы меньше всего ожидали, что русские в третий раз пойдут в атаку.

После артиллерийского огня по высоте была дана команда к атаке.

Поднял свое отделение и Курбан Дурды:

— За мной!

Следом за командиром устремились его боевые друзья. Бочаров поравнялся с Курбаном Дурды. Не отставали и Рахимов с Велиевым. Младший сержант быстро бежал вперед, на ходу ведя огонь. Отделение первым начало взбираться по склону к окопам неприятеля. Курбан Дурды на мгновение оглянулся, увидел возбужденные лица своих солдат, лейтенанта Олесишвили, размахивавшего пистолетом. Он с криком «ура!» бросился вперед.

Немцы усилили огонь. Но Курбан Дурды с товарищами уже достигли первой линии вражеских окопов и в ожесточенной рукопашной схватке начали пробиваться к пулемету, поливавшему атакующих свинцом. Курбан Дурды улучил момент и швырнул гранату. Пулемет

умолк. Это решило судьбу боя. Фашисты не выдержали и отступили, оставляя убитых и раненых. Преследуя врага по пятам, наши развивали успех. И тут почти у самых ног Курбана Дурды разорвалась мина и сотнями осколков разлетелась по сторонам. Младший сержант рухнул на землю...

— Курбан! — крикнул подоспевший лейтенант Олесишвили.

Курбан Дурды открыл глаза и попытался подняться, но тут же, пошатнувшись, упал навзничь.

Бочаров и Рахимов хотели расстегнуть его набухавшую кровью гимнастерку, но Курбан Дурды, собрав последние силы, прохрипел:

— А вы почему здесь?! Вперед! Вперед, говорят вам!

Голова его откинулась на землю. Глаза закрылись.

Бойцы, бросив прощальный взгляд на распростертое тело своего командира, устремились вперед.

Бой затихал. Санитар торопливо перевязывал раны Курбана Дурды. Олесишвили коснулся губами лба младшего сержанта:

— Прощай, друг! Выздоравливай скорее!

Санитар с сомнением покачал головой: младший сержант был ранен очень тяжело...

То и дело оглядываясь назад, лейтенант Олесишвили взбирался по склону. В окопах, отбитых у фашистов, первым его встретил ефрейтор Бочаров.

— Как наш командир, товарищ лейтенант? — со страхом спросил он.

— Примите командование отделением, — вместо ответа приказал Олесишвили.

— Есть принять отделение...

— Он жив, товарищ лейтенант? — не удержался Рахимов.

...Курбан Дурды пришел в сознание. Он недоуменно огляделся по сторонам и спросил:

— Где лейтенант Олесишвили? Куда делся Бочаров? Позовите Бочарова!

Он пытался сползти с койки, но сильные руки медсестры прижали его плечи к постели.

— Лежите спокойно. Вам нельзя двигаться.

— Где я? — тревожно спросил раненый.

— Во фронтовом госпитале.

— В госпитале?! — испугался младший сержант.

— Чего вы так перепугались! — возмутилась девушка. — И не таких ставим на ноги! Скоро вернетесь в часть.

Но день проходил за днем, неделя уступала место неделе, а Курбан Дурды все еще находился на излечении.

Однажды, размахивая какой-то бумажкой, в палату вбежала медсестра:

— Товарищ младший сержант! Вам телеграмма от командующего фронтом!

Курбан Дурды изумленно воззрился на девушку:

— Мне?! От командующего? Вы что-то путаете!

— Ничего я не путаю! Вот, читайте!

— «Поздравляю с представлением к высшей награде. Желаю скорейшего выздоровления», — словно во сне читал Курбан Дурды. — Высшая награда... Командующий фронтом... Что же такого я совершил?! Скорее бы в часть... К своим... Как-то они там?.. — мысли младшего сержанта путались от охватившего его волнения. Но тяжелое ранение навсегда вывело его из боевого строя.

А 9 ноября 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР младшему сержанту коммунисту Курбану Дурды было присвоено звание Героя Советского Союза. Весной 1942 года его вызвали в Москву. Когда он вышел из Кремля, на его груди сверкали орден Ленина и Золотая Звезда. А солнечный Туркменистан уже готовил букеты из лучших цветов, чтобы с любовью и благодарностью преподнести их своему первому Герою.

ФОТОГРАФИИ

В минуты раздумий, в минуты радости и в редкие минуты печали я раскрываю старый фотоальбом. Перелистываю страницы, разглядываю фотографии, вспоминаю. И, словно в хроникальном фильме, встают перед глазами вехи сложного пути, пройденного мною по жизни.

На первой странице — старая, пожелтевшая от времени карточка: безрогий пестрый бычок, а рядом — трогательный маленький пастушок.

Было и такое! В ауле, где я начинал учиться, мне пришлось когда-то за кусок хлеба пасти чужую скотину...

Вот я за партой. Это уже в интернате. Если присмотреться, можно разглядеть комсомольский значок на груди.

А этот снимок сделан в редакции: молодой журналист сидит за столом над рукописью. На фото, как ни вглядывайся, не увидишь этого, но я-то знаю, сколько планов и надежд волнуют молодого журналиста!

Еще страница, еще, еще... Это уже война. Пилотка, погоны, планшет на портупее... На одной из послевоенных фотографий сижу я в форме подполковника... А здесь мой писательский стол и сам я почти такой, как сегодня.

Фотографии, фотографии... Одни из них заставляют меня улыбаться. Другие — холодом наполняют душу...

А ну-ка, немножко назад, туда, где мир уже кончился, а война еще не началась.

...Молодые солдаты сидят на траве. Это наш взвод перед самой войной. Мы служили тогда в Закавказском военном округе. Отличные ребята собрались в нашем взводе. Жили дружно, весело, беззаботно... И вдруг —

теплушки, а потом трудные марши, полный боекомплект... Двадцать седьмого сентября тысяча девятьсот сорок первого года под Полтавой, на подступах к сахарному заводу, вот эти самые ребята вступили в бой...

Шли проливные дожди. Жирная полтавская земля превратилась в сплошное черное месиво. Обоз и кухни увязли где-то в пути. Мы остались без пищи, без кипятка. А враг, словно озверев, поливал нас огнем. Гулко лопались мины, раскидывая смертоносные осколки. Снаряды, на мгновение зарывшись в землю, вздымали фонтаны огня и черной грязи.

Непрерывный грохот стоял над полем, заглушая все иные звуки.

И вдруг разом замолчали немецкие пушки и минометы. Жуткая, неправдоподобная тишина повисла над нами. Только стоны раненых и хрип умирающих нарушали ее. И тогда мы увидели: во весь рост, как на параде, чуть покачиваясь, с автоматами на груди, цепь за цепью движутся на нас немцы.

В то время я был пулеметчиком артбатареи стрелкового полка. Цепи противника медленно, но неотвратимо приближались к нашим окопам.

Сжав рукоятки, то озираясь по сторонам, то вглядываясь вперед, я ждал команды. Немцы шли уверенно и бесстрашно, словно у каждого из них была вторая жизнь про запас. Я уже различал их загорелые пьяные лица, сигареты, зажатые в зубах. Руки так и тянулись к гашеткам, но... команды не было! Молчали наши пушки, молчали наши командиры.

Мой второй номер, тяжело раненный в бедро, тихонько стонал на дне окопа.

И тут я увидел Морозова. Плотно прижавшись к земле, наш комиссар полка полз прямо к моему пулемету.

И сразу стало легче на душе. Раз комиссар с нами, значит, порядок!

Рукавом шинели Морозов стер пот с лица и спросил спокойно:

— Ты коммунист?.. Знаешь, как дерутся коммунисты?

— Так точно, товарищ комиссар. Знаю.

— То-то, — сказал Морозов и обратился к бойцам:— Потерпите, ребята, еще маленько. Без музыки маршируют, гады. Сейчас устроим им музыку!

А немцы шли. Теперь уже все мы видели пуговицы на их мундирах и белки глаз. Морозов зачем-то глянул на часы, обернулся. Следом обернулся и я, и как раз вовремя: далеко за нашими окопами одна за другой взвились две зеленые ракеты, и в то же мгновение где-то там, еще дальше, глухо заговорили пушки. Наши пушки!

— Смерть немецким оккупантам! Огонь! — крикнул Морозов и разрядил свой ТТ в наступавших фашистов.

Нажав гашетки, я дал длинную очередь по фронту противника. Справа и слева хлопали ружейные выстрелы, трелями заливались пулеметы. Гитлеровцы падали, корчась на влажной земле. Иные, бросив оружие и тяжело выдирая ноги из раскисшего чернозема, бежали назад. Но и там их ждала смерть: плотный вал артиллерийского и минометного огня отрезал немцам путь к отступлению.

Мой «дегтярев», как веником, прометал бреши в толпе бегущих. Морозов лег рядом со мной за второго. В редкие паузы между очередями он подбадривал меня:

— Так их! Молодчина!

А когда не осталось целей для нашего огня и бойцы, разгоряченные боем, встали над окопами, кто-то из них сказал, закуривая:

— А неплохо мы поработали, товарищ комиссар?

— Неплохо, — сказал Морозов. — Отдыхайте пока, а как стемнеет, начнем отходить.

— Что так? Вперед бы. Зачем отходить? — раздались голоса.

— А кухня? — улыбнувшись, сказал комиссар. — Они к нам все равно не пробьются, а мы в самый раз к ужину поспеем.

— А мы немецкие отобьем, — в тон комиссару сказал курносый солдат. — У них, говорят, суп жирный.

— Отобьем, — согласился комиссар. — Вот обратно пойдем по этим местам, тогда и кухни отобьем, и пушки, и всю дурь из них выбьем. Тут не Голландия и не Франция. А сейчас готовьтесь к отходу, — добавил он серьезно.

Вот таким ои и был, наш комиссар: всегда спокойный, всегда чисто выбритый, всегда в белоснежном подворотничке, с мягкой улыбкой в умных голубых глазах. Как живой смотрит он с карточки...

Еще страиица. И это тоже война. Кирпичные трубы над пепелищами. Целые улицы голых кирпичных труб. Это все, что осталось от Шебекино. Там мы вели упорные, кровопролитные бои... Широкий проспект, груды развалин, пустые глазницы окон. Трупы прямо иа площади... Таким был Харьков, когда мы вошли туда.

А вот почти мирная картина: в тени могучего дуба, расстегнув гимнастерки, лежат на траве солдаты с книжками в руках. Это мы готовимся к экзаменам на краткосрочных курсах политсостава. Фронт близко. Слышно, как грохочут пушки, слышно, как рвутся снаряды, но нам сейчас не до того.

Завтра последний экзамен, а послезавтра мы получим новые назначения...

Меня тогда направили в роту. И тут, на политработе,

сам того не зная, мне на каждом шагу помогал комиссар Морозов.

Рота — это, конечно, не полк. Но и в роте живые люди. А к живому человеку Морозов всегда умел подойти. Он умел, а я, вспоминая его, учился. И, наверное, неплохо учился: вскоре меня перевели в батальон.

И снова бои. Сталинград, Курская дуга, Калининская область, Белоруссия, Прибалтика, Польша. А вот полуразбитая кирха. Вокруг узких окон, как веснушки вокруг глаз, следы наших пуль. Оттуда, из кирхи, били четыре вражеских пулемета. Нелегко было уничтожить их. А сейчас пулеметы молчат. Рядом — трофейная автокухня. Солдаты с котелками получают обед. Это уже в Германии.

И здесь, в Германии, снова вспоминается Морозов. Сколько пушек отбили мы у фашистов, сколько кухонь, сколько обозов! Вот только дурь не выбили из них до конца. Но теперь и за этим дело не станет.

На следующей странице — последняя военная фотография. У нее, как и у всех остальных, своя история...

Однажды пасмурным утром меня вызвали в политотдел дивизии. Я добрался на попутных машинах, вошел в землянку и доложил как положено:

— Здравия желаю, товарищ гвардии подполковник!.. По вашему приказанию явился...

— Садись, — сказал подполковник. — Тут вот какое дело: решили забрать тебя к нам в политотдел, агитатором. Справишься?

Справлюсь ли? Не об этом подумал я в ту минуту. Я вспомнил боевых товарищей, с которыми дрался плечом к плечу. Представил, как придется сказать им: «Прощайте...»

— Товарищ гвардии подполковник, — сказал я, помолчав, — может быть...

— Что «может быть»? — перебил меня подполковник. — Трудно будет — поможем. С завтрашнего дня приступай. А сейчас иди, сдавай батальон. А по ребятам соскучишься — тут недалеко. Все.

— Есть, товарищ гвардии подполковник! — вот и все, что мне осталось ответить. Приказы не обсуждаются.

Я взял под козырек, повернулся кругом, но тут дверь открылась, и в землянку вошли еще два офицера — плотный, высокий майор и стройный старший лейтенант с юношеским лицом.

— Вот кстати, — сказал подполковник. — Знакомьтесь, гвардии капитан: это гвардии майор Рогожин, наш агитатор. Будете вместе работать. А это старший лейтенант Степан, мой помощник по комсомолу. Оба они недавно прибыли в нашу дивизию... Вопросов нет?.. Тогда все. А ты, Степан, останься, дело есть, — обернулся он к старшему лейтенанту.

Вот так и началась наша дружба, закалившаяся потом в боях и походах. И странно: было, конечно, имя у майора Рогожина, была фамилия и у старшего лейтенанта Степана, но для меня с первой минуты они так и остались — Рогожин просто Рогожиным, а Степан просто Степаном. Ни за какие блага мира не вспомню я теперь имя майора и фамилию старшего лейтенанта. А записать не пришлось — не было случая.

Мы всегда жили в одной землянке, в одной палатке. Вместе брились, вместе ели, порой путая свои котелки. Вместе смеялись и горевали вместе, если была тому причина. Вот только работать нам приходилось отдельно.

Выйдем, бывало, из политотдела, и каждый по своему заданию. А вернемся — и снова вместе. Делимся успехами, обсуждаем свои ошибки.

В дивизии так привыкли к тому, что мы всегда вместе, что прозвали нас «Три друга». Идешь один, встре-

тишь кого-нибудь — и первый вопрос: «А как там майор? Как Степан?»

А если вдвоем идем, нас непременно спросят о третьем.

В то утро на террасе маленького домика, который достался нам при расквартировании, мы заняты были каждый своим делом. Я чистил ордена и медали, потемневшие от непогоды, Степан писал письмо домой, Рогожин читал газеты.

Вдруг прибежал посыльный из политотдела и выпалил скороговоркой:

— Здравия желаю, разрешите обратиться. Вас, товарищ гвардии майор, товарища гвардии майора (я был уже в звании майора) и товарища гвардии старшего лейтенанта срочно вызывает товарищ гвардии подполковник.

Рогожин и Степан вскочили и стали оправлять гимнастерки. Я наскоро собрал ордена и медали, завязал в носовой платок и сунул в карман. Пять минут спустя мы стояли перед столом начальника политотдела.

— Вот что, Три друга, — сказал подполковник, — завтра на рассвете мы переходим в решительное наступление. Предсказывать не берусь, но так думаю, что это будет последнее наше наступление. Похоже, что войне конец. Сейчас же собирайтесь в полки, готовьте личный состав к этому историческому бою. А в бою, если придется, как всегда, сами служите примером доблести. Ну, да вас-то не надо учить. Не новички. Ступайте. А ты, майор, если хочешь, иди в свой полк. Даже в свой батальон, не возражаю. Вопросов нет? Ну, все.

Мы отправились выполнять задание. Но не успели и трехсот метров отойти от политотдела, кто-то окликнул нас:

— Эй, Три друга, стойте-ка!

Мы обернулись. Политотдельский фотограф, обвешанный камерами в потертых футлярах, тяжело дыша, догнал нас.

— Уж больно вы хороши, ребята, когда вместе! Еще бы на коней посадить, так хоть богатырей с вас пиши. Дайте-ка я вас увековечу на всякий случай. Война все-таки. А завтра, говорят, наступление.

— Ну и что? — сказал Рогожин сурово. — Первый раз нам, что ли, в наступление?

— Это я понимаю,— не сдавался фотограф.— Да ведь раз на раз не приходится. На войне всякое бывает...

— Ну, ты не каркай и не задерживай! Не на прогулку собрались, — оборвал майор.

— Одно мгновение, — засуетился фотограф. — Присядьте вот так, товарищ гвардии майор. Вы, товарищ гвардии майор, сюда, а ты, Степа, на коленочку. Вот так. Внимание!.. Все, можете идти. Видите, как просто сделать человеку удовольствие. А завтра, когда получите снимочки, тут уж не удовольствие, тут счастье будет для меня. Только сами приходите с победой.

Мы поднялись и молча зашагали дальше. Первым заговорил Рогожин.

— А в общем-то прав он, ребята. Кто скажет, увидим ли мы эти снимки? И друг друга увидим ли завтра?

— Давайте договоримся, — сказал Степан, — если я не вернусь, вы сами отвезете этот снимок маме. И отдадите прямо в руки.

— И мой, — сказал я.

— Договорились, — согласился Рогожин и почему-то тяжело вздохнул.

С тем мы и разошлись по частям. Я весь день беседовал с бойцами, с офицерами, с политсоставом. Беседы

продолжались и ночью — многим не спалось в эти последние часы перед последним боем.

Под утро я вышел на передовую, поеживаясь, ждал рассвета. Вот-вот грянут пушки, и тогда за огневым валом — вперед, за Родину!..

Но пока еще немая тишина стояла над землей, и мне вспомнился тот бой под Полтавой. Так же тихо было тогда перед боем.

Я вглядывался в начавшую редеть темноту. Там, это мы знали, занял прочную оборону немецкий корпус. У нас уже был опыт боев с превосходящими силами противника. Да и немцы были не те, что в сорок первом. И все-таки было тревожно.

И вдруг... или это пригрезилось мне?.. Как на параде, чуть пошатываясь, во весь рост, цепь за цепью двинулись на нас немцы! Оружия не видно было в предрассветной мгле. Но даже простым глазом видны были флаги, высоко плывшие над цепями.

«Психическая атака, — подумал я. — Да что у них, по второй жизни в ранцах?» Я вскинул бинокль, пригляделся, напрягая зрение, и вдруг понял: нет, по одной жизни было у этих немцев. И никто из них не хотел расставаться со своей единственной жизнью. Флаги были белые!

Наши пушки так и промолчали весь день. Не было ни огневого вала, ни наступления, ни обороны. Но офицерам и сержантам пришлось и поработать, и пошуметь в тот памятный день. Шутка ли — принять в плен целый корпус! Мы взяли его без единого выстрела.

Зато на другой день настрелялись вволю. Да и как не пострелять в небо, когда услышишь весть о великой Победе, о полной безоговорочной капитуляции фашистской Германии!

Мы втроем тоже стреляли в воздух. И вдруг сквозь залпы и крики «ура» раздался радостный шепелявый голос:

— Вот вы где, Три друга! Посмотрите на меня — и вы увидите самого счастливого фотографа мира. Такой снимок вручить лично и в такую минуту — это же настоящее счастье!

Опустив пистолеты, мы обернулись. К нам бежал наш фотограф.

— Осторожно, — сказал он, раздав нам влажные снимки.— Не успел просушить. Досушите сами. Нельзя же было откладывать. Вы понимаете это? И победа, и вы все живы. А посмотрите, что я написал: «Три друга 7.5.45». А что еще нужно? У вас есть вопросы?

Рискуя испортить «исторические» снимки, мы обняли нашего фотографа. Жаль, что и его имя я не могу вспомнить.

Где нынче Рогожин? Где Степан? Может быть, и они порой достают эту старую фотографию и подолгу рассматривают ее.

И как это здорово, что у моих русских братьев хранится фото их туркменского брата! И как здорово, что я, когда захочу, могу посмотреть на них!

Как знать, может быть, мы еще встретимся. Вот тогда мы непременно сфотографируемся снова, и я не забуду — запишу их адреса, имена и фамилии...

В КОНЦЕ ВОЙНЫ...

Выбравшись из лабиринта окраинных улочек, «Москвич» помчался прочь от города. Водитель с удовольствием откинулся на спинку сиденья и подставил лицо под упругую струю степного ветра. «Москвич» катился лег-

ко и стремительно. Со стороны можно было подумать, что водитель, известный мастер по шитью тельпеков со швейной фабрики имени Крупской города Мары Атагельды Овшинов, только тем и занимался всю жизнь, что крутил баранку.

— Нет...— рассмеялся Атагельды.— До войны я работал учителем. После ее окончания снова преподавал и даже пытался работать на местном радио. Но...— Лицо его помрачнело.— Очень скоро убедился, что если не найду себе сидячей работы — с любой другой мне не справиться.

Мы помолчали.

— Думаю рассказать тебе о том, о чем до сих пор никому не рассказывал.

— Давно бы так, Атагельды.— Я понял его мысли.

Он сбавил скорость. Уже одно это обстоятельство подсказало, сколь нелегким и ответственным будет рассказ. Видимо, и впрямь нелегко заново пережить пережитое, пусть и отдаленное тремя десятками лет. Тем более что лучшие годы молодости пришлись на огненные годы войны...

Судьба на войне, можно сказать, щадила Атагельды, если не считать ранений. Когда в медсанбате, когда в прифронтовом госпитале подштопают отважного старшего сержанта — и он снова оказывался на передовой. Ордена Красной Звезды, Славы третьей степени и многие медали украшали его грудь.

Война уже близилась к концу, бои шли на полях Венгрии. Предстояла решающая битва за Будапешт.

И тут Атагельды ранило осколком в правую ногу, чуть выше коленной чашечки.

Когда старший сержант пришел в себя — ноги у него уже не было. Был далекий тыловой госпиталь, было тихо, и был он со своей бедой. Но своей ее он поначалу

не считал — испугался прежде всего за мать. Сможет ли она перенести это? Что касается его — он насмотрелся всякого и готов был ко всему.

Шли дни. Рана заживала трудно и медленно. Война для него кончилась. До поры щадившая его, она постаралась оставить ему по себе жестокую памятку.

Атагельды понимал, что жить так, как он жил до войны, ему уже не придется. Не тот он уже был. По всей своей сути.

Дни, недели, месяцы размышлений. А за ними неизменно стоял один-единственный человек — МАТЬ.

Надо было как-то готовить ее к своему возвращению. Понимал, что с его приездом тревога покинет их дом, но уступит место чувствам, с которыми никогда не сможет смириться материнское сердце.

Собравшись с мыслями, Атагельды остановил пробегавшую мимо медсестру и попросил принести бумагу и карандаш.

— Может быть, вы продиктуете мне, а я напишу? — предложила она.

— Спасибо. Но моя мать не понимает по-русски. И потом... сами понимаете... словом, она мою руку знает. Чужой почерк переполошит ее и заставит гадать бог знает о чем.

Медсестра понимающе покивала головой.

— Неудобно вот только вам.

— Ничего. Если вы принесете мне еще и книжку в твердом переплете, будет то, что надо.

С первым своим письмом из госпиталя Овшинов промучился почти весь день. Не столько писал, сколько обдумывал каждую свою мысль, каждое слово. В конце приписал: «Я легко ранен, нахожусь на излечении в госпитале. Война, видимо, скоро кончится. Надеюсь, увидимся. Не переживай и ни о чем плохом не думай».

...Оразгозель-эдже провела письмом по лицу и снова стала перечитывать его, выискивая особый смысл в словах. «Почему — «надеюсь, увидимся», если он легко ранен? И почему я должна не думать о плохом? Нет, наверное, что-то не так, как пишет Атагельды... А может, и так... Просто соскучился, расчувствовался, оттого и письмо такое. Конечно же так оно и есть! Ой, пропади я пропадом! Ищу ненужный смысл в прекрасном письме моего сыночка. Говорят же «благое намерение — половина дела» — вот и буду я думать только о хорошем! Бог даст, и на сей раз обойдется, а там и война закончится».

Шли дни. Завидев человека в военной форме, Оразгозель-эдже бросалась к нему с одним и тем же вопросом:

— Ягненок мой, ты давно с фронта?

Некоторые из них отрицательно качали головами, другие отвечали:

— Да, тетя.

— А моего Атагельды случайно не встречали там?

По ее представлению фронт был местом вроде ихнего села — имеет начало, конец и все там знают друг друга в лицо...

— Нет, тетя, не встречал.

Ответ фронтовика расстраивал ее.

Однажды Оразгозель-эдже отнесла на базар халат и шерстяные носки и обменяла на хлеб. Выходя из ворот базара, столкнулась с худющим солдатом с костылем под мышкой.

Сердце ее сжалось, и она протянула ему выменянный хлеб:

— Ешь, сынок!

— Спасибо, мать. Да только мне есть не хочется.

— Давно с фронта, сынок?

— Третий день, мать.

— Сына моего, Атагельды Овшинова, не встречал ненароком?

Солдат подумал и ответил:

— Видал.

— Видал? Да светят глаза твои, видевшие моего сына! Здоров ли Атагельды, храбрец?

— Здоров.

— Скоро ли приедет домой?

— Самое позднее — через два с половиной месяца.

— Да не увидят горя глаза твои, родимый!

Оразгозель-эдже постеснялась спросить у него о ранении сына — солдат был без ноги, а сын был легко ранен. Но по дороге опять мысли полезли в голову: «Как же так: возвращаются те, кто потерял ногу, а почему задерживают моего Атагельды, который имеет легкое ранение?.. Господи, опять они, дурные мысли. Ну-ка вон из головы! Уходите, уходите! Сын мне запретил думать о плохом!»

Вернувшись домой, Оразгозель-эдже оглядела голые стены своего дома: «Что же мне нести в следующий базарный день?»

На дне сундука оставались только рубашка сына, сшитая из белого шелка, и его дутар.

«Ну нет! Только не их! Лучше я умру с голоду!..»

Война уже кончилась. Глаза матери с утра до вечера были прикованы к дороге. По ней в село возвращались фронтовики. Сельская детвора то и дело голосила, скандируя: «Едет-едет-едет!»

Каждый раз приехавший был не ее сыном. Она говорила: «Лишь бы возвращались!» И вместе со всеми бежала в дом солдата.

А Атагельды не спешил выписываться из госпиталя. Предстояло еще научиться ходить заново.

И парень научился ходить. Домой он должен вер-

нуться самостоятельно, выглядеть уверенно и мужественно, а самое главное — не поколебать даже в таком виде веру матери в него как ее опору на старости лет.

Истекал срок, пророчески отпущенный одноногим фронтовиком. Оразгозель-эдже почему-то безоговорочно поверила ему и все последние дни проводила в трепетном ожидании у дороги.

Сельчане понимали ее. Иногда останавливались рядом:

— Не мучила бы себя — подождала бы дома. Мальчишки не дадут застать врасплох.

— Не могу усидеть дома. Ноги сами несут за порог. Вся душа изболелась. Ночь годом кажется. От каждого собачьего лая сердце обрывается.

— И все равно, иди домой. Завтра опять рано на работу вставать.

Оразгозель-эдже покорно шла домой, чтобы через миниту снова застыть у обочины пыльной дороги...

Откуда знал тот солдат-инвалид, что встреча назначена именно на 15 июля 1945 года — им останется только гадать...

Проводник помог Атагельды спуститься с высоких ступенек вагона и пожелал счастья в жизни.

Не успел солдат оглядеться, как его окликнул человек, в котором он распознал своего односельчанина.

— Наконец-то, Атагельды... Матушка твоя совсем заждалась! Значит, это и есть твое легкое ранение?

— Оно и есть... Как мама?

— Раз заждалась — значит, жива, а о здоровье сам узнаешь.

— Ладно, земляк... Транспорт бы какой-нибудь. Мне, сам понимаешь, долго прыгать придется.

— Транспорт найдется. Внизу стоит моя арба. Пошли.

Арба, запряженная рослым ишаком, выбралась из города и заскрипела в сторону села Конгур.

Сердце Атагельды учащенно билось и, казалось, рвалось из груди — кому неизвестно чувство встречи с родиной!.. Все долгие годы войны мысли о родном доме ни на минуту не покидали его. Даже если и забывался ненадолго тревожным окопным сном — виделись вот эти бескрайние поля, дороги, тутовые аллеи над звонкими арыками.

Атагельды так и подмывало выпрыгнуть из арбы и упасть на землю, обняв ее.

И вот он, дом. Родная мазанка, путь до которой был длиной бесконечных четыре года.

Его оглушил ребячий гвалт, эхом прокатившийся из конца в конец села:

— Едет! Едет! Едет!..

Приблизившись к арбе, дети уточнили:

— Атагельды едет!

Оразгозель-эдже как была босиком, так и бросилась за дверь. Она бежала навстречу арбе, не разбирая дороги, распустив по ветру длинные концы платка. С разбегу вскочила на арбу, прямо в подставленные сыном руки и прижала его к груди.

— Дитя мое!

Она помогла сыну сойти с арбы и снова прижала его к груди.

— Живой!..

— Мама! — Не выдержал Атагельды. — Мамочка!

— Ягненочек мой, главное — ты жив!.. Правда, у нас ничего не осталось, но я сохранила твою праздничную рубаху и твой дутар. Я верила, что они обязательно пригодятся тебе...

ВЕРНОСТЬ

Все мы, председатель мургабского колхоза имени Калинина Акгурбан Джумамурадов, Герой Социалистического Труда Мухамедмурад Бекчаев, заведующий отделом иллюстрации газеты «Туркменская искра» Махмуд Гусейнов, Кичи Шабасанов, Баба Гокиев, Анна Худайназаров, Ораз Каракулов, Зерип Зерибов, Курбан Рахманов, Ата Байрамов. Сапар Мухамедназаров, Дурдымурад Амашов, Акмамед Гултаков, Нурягды Хоммадов, Ораз Мередов, Коссек Овезмурадов... и я, прибывшие из разных уголков республики подлечиться и отдохнуть в санатории «Байрам-Али», беседуя как-то между собой, сидели на лавочках между девятым и десятым корпусами.

И вдруг все говорившие разом замолчали. Мимо нас по дорожке неторопливо под ручку шли мужчина и женщина. Казалось, в этом ничего удивительного не было, но мои собеседники молчали...

— Они приезжают сюда почти каждый год, — нарушил затянувшуюся паузу Мухамедмурад Бекчаев, обращаясь ко мне. — Ты у нас новичок и ничего, видимо, о них не знаешь.

— Сколько раз их вижу — столько раз поражаюсь мужеству и высокой человечности этой женщины,— поддержал товарища Зерип Зерибов. — Этот мужчина абсолютно слеп, и к тому же у него нет правой руки. Женщина — его жена. Она с ним рядом повсюду. В столовой, на врачебных процедурах, в кино... Они любят телепередачи и книги. И никто никогда не видел лицо этой женщины хмурым, недовольным или усталым. Они всегда хорошо одеты, аккуратно причесаны и приветливы. Старожилы говорят, что в молодости она была очень красивой. Она хороша собой и сейчас.

Мои собеседники, в большинстве своем участники Ве-

ликой Отечественной войны, старались в свою очередь добавить и рассказать что-нибудь от себя. В конце концов Махмуд Гусейнов положил руку мне на плечо:

— Тебе обязательно надо познакомиться с этими людьми. Он ведь фронтовик.

Товарищи дружно поддержали его. Да я и сам уже думал только о них...

И вот мы сидим втроем в светлой и чистой палате на втором этаже девятого корпуса.

Дмитрий Михайлович Грицунов сидит напротив меня и как-то беспокойно оглаживает здоровой рукой вокруг себя.

— Что ты ищешь, Дима? — ласково обращается к нему Мария Михайловна.

— Ничего не ищу, Маша, — в тон жене ответил он.— Писатель к нам в гости пришел, вот я и разволновался немножко. Ты чаю нам подашь?

— Конечно, Дима. Чай скоро будет готов, ты пока займи нашего гостя.

— Не стоит беспокоиться, не нужно чая, Мария Михайловна, — возразил я.

— Ну какое это беспокойство!

Грицунов рассказывал, вначале волнуясь, как это, видимо, всегда бывает в беседе с незнакомым человеком, потом заговорил ровным голосом, устремив куда-то вдаль свой невидящий взгляд.

— Собственно, никакой такой особенной истории у меня нет... Родился я в двадцать первом году в станице Зотская Ставропольского края. Учился в станичной школе. В Нальчике закончил курсы по подготовке радистов-операторов. А в тридцать девятом был призван на действительную военную службу. Служил моряком на Керченской военно-морской базе. И вот война... — Он замол-

чал и с тяжелым вздохом сокрушенно покачал головой. — Проклятая война!.. Начатая проклятым Гитлером...

Бывший краснофлотец Дмитрий Грицунов рассказывал — будто считывал строки из фронтовых газет.

Тяжелые бои за Керчь, десант, тяжелейшие сражения на Таманском полуострове. Морские пехотинцы, вооруженные автоматами и гранатами, беспрестанно отражают бесчисленные атаки фашистов, проявляя беспримерные отвагу и героизм. Отбивают атаки и контратакуют сами. И всегда в рядах отличившихся был краснофлотец Дмитрий Грицунов...

Мина разорвалась у самых его ног. Младший сержант Грицунов с тяжелейшими ранениями был отправлен в глубокий тыл. Шел сорок второй год...

— Пришел я в себя только в госпитале. Их было много на моем веку, этих госпиталей... Новороссийск, Кутаиси, Ереван, Баку, Ашхабад... Судил о них по госпиталям, которые мало чем отличались друг от друга... О состоянии моей души вам нетрудно догадаться... Ничего ведь еще я не успел в жизни и не мог уже успеть. О любви судил по книжкам да рассказам соседей по палате. Они об этом рассказывали с удовольствием и подробностями, и все с удовольствием слушали их. Мы ведь были молоды, и ничто так не помогало нам, как разговоры о любви. Забываясь, я сопереживал рассказчикам, а очнувшись — подолгу не спал по ночам. Мне надеяться было не на что. Так думал я тогда. И... ошибся.

В сорок третьем году я попал в дом инвалидов благословенного города Иолотани. Именно здесь судьба улыбнулась мне... Буквально во всем. Солнечное тепло, тепло сердец наших туркменских сестер и братьев, окруживших нас такими заботами и вниманием, что нельзя было не поверить снова в жизнь, людей,

счастье. Только... об этом лучше меня расскажет Маша.

— Большое вам спасибо, Дмитрий Михайлович!.. Пожалуйста, Мария Михайловна, вам слово.

Все время присутствующая рядом Грицунова ни словом не нарушила рассказ мужа и с готовностью продолжала его.

— Вначале я скажу то, чего не сказал Дима.— Мария Михайловна заговорила тихо, но твердо.— За свои боевые действия он награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалью «За освобождение Кавказа», многими юбилейными медалями.

— Да не расхваливай ты меня, Маша! — Грицунов замахал рукой. — Ты лучше о себе расскажи.

— Так я ведь правду говорю. Какая же это хвальба. Что было, то и есть.

Родилась Мария Михайловна в тысяча девятьсот двадцатом году в селе Пилюгино Саратовской области в семье Данилиных. В тридцать пятом году семья переехала в город Иолотань Туркменской ССР. Здесь Маша закончила среднюю школу № 2. Потом она работала в бухгалтерии хлопкоочистительного завода, госбанке. Работает она в бухгалтерии и по сей день, но только уже в комбинате бытового обслуживания населения.

— В сорок девятом году у нас с Димой родился сын. а в пятьдесят седьмом — дочь. Сын Василий и дочь Антонина также учились во второй школе, в моей школе. Василий закончил в Мары железнодорожное училище и долгое уже время работает машинистом в чарджоуском депо. У самого уже пятеро ребятишек. Внук Виталий с младенческих лет живет с нами в Иолотани. Жена Василия Татьяна работает на чарджоуской текстильной фабрике. Виталию нашему десять лет. Он тоже ходит в нашу вторую школу. Дочь Антонина учится в Томском по-

литехническом институте. Что же мне еще рассказать вам?

— О самом главном. Как вы познакомились с Дмитрием Михайловичем.

Оба Грицуновых улыбнулись и смущенно пожали плечами.

— Трудный для нас вы задали вопрос. — Мария Михайловна прижалась к мужу, словно рассчитывая на его поддержку. — Дима...

— Уж лучше ты сама, Маша...

— Ну сама так сама... — Мария Михайловна помолчала минуту, собираясь с мыслями, потом уверенно начала: — Мы, иолотанские девушки, шефствовали над домом инвалидов. Ходили туда мы чуть не каждый день. Ухаживали за ранеными, помогали им чем и как могли. У каждой девушки были свои подшефные. Я ухаживала за Димой Грицуновым, тогда еще таким молоденьким и страшно переживавшим свое несчастье. Я вначале читала ему книги, сопровождала в прогулках, норовила принести чего-нибудь домашнего и видела, как Дима оттаивал, становился таким же, каким он, видимо, был раньше. Потом я уже не могла жить, чтобы не видеть Диму, а он меня. Мы поняли, что друг без друга нам уже не обойтись... 30 мая сорок шестого года я увела Диму к себе домой. И в тот же день сыграли свадьбу.

— Огонь нашей первой любви остается негасимым и по сегодняшний день. — Дмитрий Михайлович вдруг всхлипнул и закрыл лицо рукой. — Простите, я и в тот день... от счастья. Вот и сегодня...

Я подождал, когда он успокоится.

— И все-таки что вы, Дмитрий Михайлович, больше всего цените в своей жене?

— Верность.

Верность! Именно верность — единственно верное и точное слово! Нам, немало пожившим на веку, как никому другому известно подлинное значение этого слова. И мне захотелось поклониться женщине, удостоившейся самой высокой похвалы героя, грудью защищавшего свою Родину.

Мне остается только сообщить домашний адрес Грицуновых:

746420, город Иолотань, улица Атчапара, дом 70.

СОДЕРЖАНИЕ

Назаров А. Н.

Н19 Солнечный свет. Повесть, рассказы, очерки. Перевод с туркменского. М.: Советский писатель, 1984. — 272 с.

В книгу писателя-фронтовика Ашира Назарова «Солнечный свет» вошли произведения, в которых рассказывается о бессмертном подвиге советских людей в Великой Отечественной войне и наших современниках. Его герои — первый туркменский генерал Якуб Кулиев и первый Герой Советского Союза из туркмен Курбан Дурды, боевые друзья, однополчане, живущие среди нас или отдавшие жизнь за Родину, простые сельские труженики. Автор исследует серьезные нравственные проблемы жизни

Н $\frac{4702540200-450}{083(02)-84}$ 331—84 С (Туркм) 2

Ашир Назаров

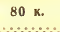
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ

М., «Советский писатель», 1984, 272 **стр.**
План выпуска 1984 **г.** № 331

Редактор ***А. П. Манахов***
Худож. редактор ***А. С. Томилин***
Техн. редактор ***Ю. Н. Чистякова***
Корректор *С. З. Михайлина*

ИБ № 4116

Сдаио **в** набор 30.05.83. Подписано к печати 23.11.83. А04232. **Формат** 70Х108$^1/_{32}$. Бумага тип № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл печ л. 11,90. **Уч.-изд. л.** 12,10. **Тираж** 30 000 экз. Заказ № 7007. Цена 80 коп.
Издательство «Советский писатель». 121069 Москва, ул. Воровского, 11
Типография издательства «Коммунист», 410002, **г.** Саратов, **ул.** Волжская, 28


80 к.

Ашир Назаров

Солнечный свет